

сесыл Битон



ЗЕР- КА- ЛО МОДЫ

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МЕНЯЛИСЬ ВКУСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 50 ЛЕТ,
И О ЛЮДЯХ, НА ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ ВДОХНОВЛЯВШИХ

Сесил Битон

Зеркало моды

«Азбука-Аттикус»

2014

УДК 745.008 (084)+930.85
ББК 85.12(4Вел)

Битон С.

Зеркало моды / С. Битон — «Азбука-Аттикус», 2014

Сесил Битон – культовый английский фотограф, автор портретов монархов, звезд экрана и сцены. Он превосходно рисовал, создавал костюмы и декорации к фильмам и театральным постановкам, много путешествовал, снимал страны и людей, писал статьи и мемуары. Книга «Зеркало моды» имела огромный успех, ее не раз переиздавали и переводили на другие языки. Она поистине уникальный путеводитель по миру моды и стиля первой половины XX века.

УДК 745.008 (084)+930.85
ББК 85.12(4Вел)

© Битон С., 2014
© Азбука-Аттикус, 2014

Содержание

Предисловие к русскому изданию	7
Вступление	9
Глава I	12
Глава II	24
Глава III	39
Глава IV	53
Глава V	72
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Сесил Битон

Зеркало моды

Cecil Beaton
THE GLASS OF FASHION

© 2014, The Literary Proprietor of the late Sir Cecil Beaton

© С. Алексеев, перевод на русский язык, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

КоЛибри®

* * *

*Памяти Конде Наста,
в знак признательности за поддержку и участие на протяжении
многих лет*

Некоторые из приведенных в этой книге набросков сделаны с широко известных портретов, другие – с фотографий и газетных репродукций, авторство которых я был отследить не в состоянии. Однако должен поблагодарить господина Бориса Кочно за любезно предоставленный мне снимок господина Дягилева, леди Джульет Дафф за фотографию ее матери, сделанную де Мейером, леди де Грей и миссис Кармел Сноу за разрешение воспользоваться некоторыми фото, автором которых является Ричард Аведон. Благодарен также месье Дриану за разрешение переосмыслить одну из его ранних работ.

Я также в долгу перед людьми, любезно и великодушно предоставившими мне специфический справочный и фактический материал, который я привожу в ряде глав. Это госпожа Эдуар Бурде, Луиза де Вильморен, госпожа Полин Поттер, госпожа Рид Вриланд, госпожа Кармел Сноу, Джордж Дэвис, Эллен Маккул, Мерседес де Акоста, Мальвина Хоффман, госпожа Лопес-Уилшоу, леди Джульет Дафф, господин Мишель Бонгар, господин Кристоаль Баленсиага и Линкольн Кирстейн. Я также искренне благодарен Эдне Вулмен Чейз, Маргарет Кейс и барону Николасу де Гинцбургу из «Vogue».

Я также признателен редакторам журналов «Vogue», «Harper's Bazaar» и «The New Yorker» за предоставление доступа к архивным номерам. Благодарю Вальдемара Хансена за терпение, помощь в исследовательской работе, за редактуру и общий вклад в написание книги.

Cecil Beaton

Было чрезвычайно приятно работать над этим новым изданием с Александрой Лузарди, старшим редактором «Риццоли», издателем Чарльзом Майерсом и дизайнером-оформителем Эндрю Принцем.
Хьюго Виккерс

Предисловие к русскому изданию

То, что книгу «Зеркало моды» издадут в России, – событие удивительное. На Сесила Битона с молодых лет особое влияние оказывало творчество русских художников. Он был поклонником Дягилева, с которым познакомился в Венеции в 1926 году, а также Леона Бакста. В Кембридже один наставник рекомендовал ему изучать русские пьесы, полагая, что для юноши это будет весьма полезно. А в ноябре 1935 года Битон посетил Россию: ехал поездом, проспал в дороге 17 часов, в промежутках почитывая путеводитель Денанти и черпая оттуда любопытные факты.

В Москву Сесил прибыл с двухдневной щетиной на лице. Его взору предстали угрюмые люди на улицах, кутавшиеся от холода во что попало. Еще более поразило его запустение в магазинах. Ему сообщили, что люди сейчас якобы живут богаче, чем прежде, но в целом слова противоречили действительности. Посетив Музей революции, расположившийся в бывшем здании Английского клуба, Битон обратил внимание, что там царская семья выставлена на посмешище, а образцом благородства показан Ленин. Он заглянул туда, где выставлен гроб с телом вождя, забальзамированного по древнему египетскому рецепту, и получил незабываемое впечатление: прежде он никогда не видел покойника так близко. Свой визит в гробницу он назвал «поклонением новому богу». Ему выпала особая честь посетить Кремль, где тогда, как и сейчас, выставлялись реликвии царской семьи.

На осмотр московских достопримечательностей Сесил потратил несколько дней, после чего его ждал холодный вагон и поездка в Гатчину, где он посетил императорский дворец, видевший многих царей. Ему особенно понравился Ленинград, где дворцы, «печальные реликты прошлого, смотрят на замерзшую Неву», а сам город «полон великолепия, изящества, красоты, притом что все неуклонно приходит в упадок».

Покидая Россию, он вновь и вновь перебирал в памяти свои впечатления от этой бескрайней стройплощадки, где тут и там стоят памятники Ленину, где царят холода, а экскурсоводы почти на любой вопрос отвечают решительным «нет». Наконец, он стал размышлять о контрастах, об изолированном островке в стенах британского посольства, об увядающей красоте, о нищете и страхе.

Среди людей, сыгравших в жизни Сесила важную роль, немало русских эмигрантов, особенно в Нью-Йорке: это и Александр Либерман из дома «Condé Nast», и княжна Наталья Павловна Палей, и модельер Валентина Санина-Шлее, подруга Греты Гарбо, и многие другие.

Сесил Битон прежде всего арбитр моды, поэтому он просто обязан был написать книгу, в которой изложил свой собственный, глубоко личный взгляд на этот предмет, давая волю множеству своих талантов, в частности талантам превосходного рассказчика и рисовальщика.

Отношение автора книги к моде крайне благожелательное; он «возносит хвалу» тем, кто явился вдохновителем новых течений в моде и дизайне. Битону удастся отследить родоначальников столь переменчивых модных течений XX века, тех, кто на них повлиял, а иногда, покровительствуя им, сам оставался в тени, при этом принес в модную сферу ощутимые перемены. Имена таких персон, как, например, госпожа Эррасурис, не очень известны, однако она и подобные ей люди оказали значительное влияние на моду и вкусы эпохи.

Книга Сесила пестрит многочисленными интересными наблюдениями – например, о том, что с Востоком европейцев познакомил Дягилев и его «Русский балет». Автор анализирует деятельность величайших кутюрье как довоенного периода (Скьяпарелли и Шанель), так и послевоенного (Кристиан Диор и его нью-лук). Он описывает первых красавиц вроде леди Дианы Купер и не забывает легендарных красавиц полусвета – Лантельм, Полер и Форзан. Не обошел он вниманием и белые интерьеры Сайри Моэм, и Гертруду Лоренс, курившую

сигареты с таким видом, «будто только что встала с постели и желает поскорее туда вернуться», и многих других. Для Сесила эта книга была возможностью воздать должное кумирам, которых он встречал в своей жизни, прошедшей в самой гуще модной среды.

Впервые она была опубликована в 1954 году в Великобритании, Соединенных Штатах и Франции. Существовала и японская версия (где страницы шли справа налево и изящная английская заглавная надпись терялась на задней странице обложки). После этого ее переиздали в Великобритании в 1989 году, в Испании – в 1990 году, а в 2014-м – снова в США.

Книга «Зеркало моды» получила в целом положительные читательские отклики. Британский модельер Дигби Мортон с восторгом заявил, что эта работа – «венец творчества Сесила Битона». Анита Лус, о которой автор говорил, что она была милее всех на свете, его ближайшая подруга, которая в декабре 1929 года привела его в Голливуд, написала на книгу Битона рецензию и опубликовала ее в «Herald Tribune»:

Сесила Битона всегда отличали острый ум и орлиный взор, от которого не могла укрыться даже малейшая деталь. Но на этот раз у него получилась настоящая летопись с глубоким анализом событий. А рисунки, которыми он сопровождал текст, изысканны и тонки и свидетельствуют о его проницательности и тонкой человеческой натуре.

*Хьюго Виккерс
Июль 2014 г.*

Вступление

Всякий раз, когда англосакс берется на основании личного опыта писать о моде и второстепенных видах искусства, кто-нибудь непременно укорит его в том, что он проповедует легкомыслие и распущенность. Неожиданно обнаружится, что в Англии и Америке принято смотреть с завистливой злобой на всё, связанное с модой, и не важно, что перед ней преклоняется множество женщин.

Ревностным клеветникам моды можно ответить разве что софизмом. Оскар Уайльд как-то заметил, что мы не можем позволить себе обходиться без роскоши. На самом деле в этом парадоксе он перефразировал известную даосскую мудрость: о полезном может рассуждать лишь тот, кто знает цену бесполезному. Увы, на Западе этой мудрости вняла только Франция; там никогда не жалели сил, стараясь возвысить искусство моды и декорации и добиться в нем безупречности, свойственной литературе и живописи.

По сути, говоря о моде и декоративно-прикладном искусстве, мы говорим прежде всего об образе жизни. Искусство жить сегодня отмирает, мастеров, им владеющих, осталось на свете немногим более, чем трубочистов. Мы же, англосаксы, с самого рождения презираем свободное время, а потому низко ставим искусства, связанные с досугом. Мы, англичане и американцы, хотя и сами того не сознаем, возвращены на постулате Бенджамина Франклина «Время – деньги», поэтому с недоумением смотрим на француза, который может часами напролет готовить один только соус к основному блюду. Однако французы, даром что их обвиняют в меркантильности, не жалеют времени на творческую работу, даже если результат ее заведомо недолговечен.

Заглянув в историю – а именно в нее обычно заглядывают, чтобы разобраться в том или ином вопросе, – можно увидеть, что во все времена преходящая мода и вечное искусство делили первенство. Искусство способно в прямом смысле пережить все остальные человеческие творения. Оно точно отражает модные веяния своего века. При желании мы можем точно реконструировать моду и нравы давно ушедшей империи: для этого нам достаточно изучить декор и живопись того времени.

Создавая свою эпопею «В поисках утраченного времени», Марсель Пруст собирал подробную информацию о том, какие именно перья носили на шляпе женщины того или иного круга десять лет назад. Пруст точно знал, что мимолетный отблеск моды может многое рассказать о короткой человеческой жизни. Он будто призрак появляется и напоминает нам о том, что жизнь человека преходяща, судьба – горестна.

Биографы посвятили огромные тома Пикассо и Стравинскому, Ле Корбюзье и Джеймсу Джойсу, но о людях, определявших образ жизни в те полвека, что прошли после моего появления на свет, написано крайне мало. В этой книге я излагаю собственный взгляд на них, их творения, а также на современную моду, против течения которой эти люди чаще всего стараются плыть. Если они были или остаются законодателями моды, то только потому, что ими движет неукротимый порыв вдохновения. Среди них есть фигуры прославленные, есть оставшиеся в тени, есть и те, о ком идет дурная слава, но все они определяли стиль и тенденции моды последних пятидесяти лет. Поскольку я излагаю лишь свой взгляд, читатель, вероятно, обнаружит в книге пропуски и недомолвки. Однако я не претендую на исчерпывающее описание современных модных веяний: для этого понадобилось бы наблюдать предмет изучения с некоторого расстояния, пока же мы находимся от него слишком близко. Вероятно, в мире моды можно выделить три сословия: те, кто играет в моду и принадлежит при этом к общему стаду, – «овцы»; те, кто также играет, но пытается верховодить, – «вожаки»; наконец, истинные «пастыри»: хоть они и держатся несколько в стороне, но у них есть вкус, который они демонстрируют уверенно и авторитетно, потому что они и есть воплощение моды. Обо всех них я рас-

сказал на страницах моей книги. Властвовать могут только пастыри, так заведено природой. Писать о них – занятие интересное и благодарное.

Что касается тех, кто играет в моду, и прежде всего людей, занимающихся ею профессионально, то их судьба часто безрадостна, поскольку ремесло их не имеет прочной основы, и в конце концов они осознают, что сотворили колосса на глиняных ногах. Те, кто поумнее, с возрастом выходят из игры: где это видано, чтобы старик задавал тон в моде?

Рано или поздно каждый художник из мира моды, независимо от того, каким инструментом он пользуется и что создает, приходит к мысли о том, что судьба дает ему лишь ничтожный шанс выжить, и символом своей эпохи он станет в лучшем случае лет на десять-двадцать. Удержаться на престоле дольше этого срока не дано даже самым знаменитым кутюрье. Здесь и возникает любопытный парадокс: фасоны и стили преходящи, но сама мода – вечна.

Олдос Хаксли и другие западные мыслители, впитавшие дух восточной философии, много писали о том, что нужно стараться вырваться из потока времени. Для человека, занимающегося модой, это, разумеется, невозможно. Именно поэтому часто оказывается, что мода – враг искусства, точно так же как мимолетное увлечение – антипод вечной любви. Время, сиюминутная слава, озабоченность собственной стильностью – всё это не имеет власти лишь над истинным художником – тем, кто видит в перекрестье своего прицела вневременные ценности.

Интересно, что и в моде, и в искусстве действуют одни и те же творческие законы: и для портного, и для живописца равно важны принципы пропорции, меры, простоты. Но для людей из мира моды особое очарование заключено в духе эпохи и духе перемен, а еще – в стремлении к роскоши, и это первостепенная цель. Сами с собой они ведут игру, часто с трагическим исходом, ценя прежде всего остального лишь сиюминутный эффект. Отразить в своем творении момент им зачастую важнее, чем создать что-то вне потока времени. И чем глубже погружаются они в пучину модных трюков, тем ближе дно. Это не значит, что художник, взяв в руки инструмент портного, не сумеет создать шедевр – сможет, и еще как. Художник способен стать и новым Джованни Бальдини, и новым Кристианом Диором. Но затевать игры с модой и одновременно оставаться подлинным художником не дано никому: нельзя усидеть на двух стульях.

Искусство творить образ жизни подвластно не тому, кто следует за модой, а тому, кого она выбирает. Эти люди живут по завету Эмерсона: «Напирайте на самого себя, не подражайте никому! Придет тот час, когда вам возможно будет выказать дар, вам свойственный, во всей силе сосредоточенной целую жизнью, посвященную на его образование; тогда как даром пережитым вы пользуетесь на миг и пользуетесь им наполовину»¹.

Эта книга посвящена тем, кто, пусть на короткое мгновение, сумел выразить себя «во всей силе сосредоточенной целую жизнью», потому что, хотя их имена и канули в вечность, они сумели прославить преходящее. Они знают, что хороший вкус – ничего не значащая абстракция и что главное – вложить в творчество частичку себя. Герои моды, они сами определяют и подчиняют себе стиль собственной жизни, а не наоборот. Их пристрастия, подчас чудачества, для них куда важнее, чем обыкновенная роскошь. Желая отыскать подлинно свое, они всегда устремляются против течения.

Читатель, вероятно, найдет на этих страницах парадоксы и противоречия. Но, как писал Уолт Уитмен, «по-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе». Мода вроде сложных диковинных часов, работу механизма которых не может понять даже изготовивший их мастер. Но в этом, как и во многом другом, мода ничем не отличается от нас смертных: то противоречива, то постоянна, то трагична, то комична, соткана из мимолетного и вечного, она как гордец, который, как говорил Шекспир, «облечен минутным, кратковременным

¹ Эмерсон Р. У. Доверие к себе. Пер. А. Зверева.

величием»². Да, мы любим покрасоваться, распушить хвост. Именно поэтому мы не можем полностью ее отвергнуть.

² Шекспир У. Мера за меру. Акт II, сцена 2. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Глава I

Цыплята, фаршированные жаворонками



На заре нашего столетия, накануне моего рождения, во Франции издавали богато иллюстрированный журнал под названием «La Mode». На страницах из бумаги превосходного качества, гладкой как кожа младенца, могла попасться гравюра Поля Эллё, рисунок Джованни

Больдини, портрет маслом кисти Антонио де ла Гандары или фотография какой-нибудь дамы, графини или принцессы, которой от имени оставили лишь инициалы: Madame la Comtesse A. de N., La Princesse B. Инициалы конечно же прозрачно намекали на личность героини, но если не принимать их во внимание, то персона на снимке была инкогнито, и это придавало модной игре интриги и недосказанности; подлинные личные качества, манера персонажа одеваться и держаться прятались под легким покровом тайны, загадки.



Госпожа принцесса Э. де Б.

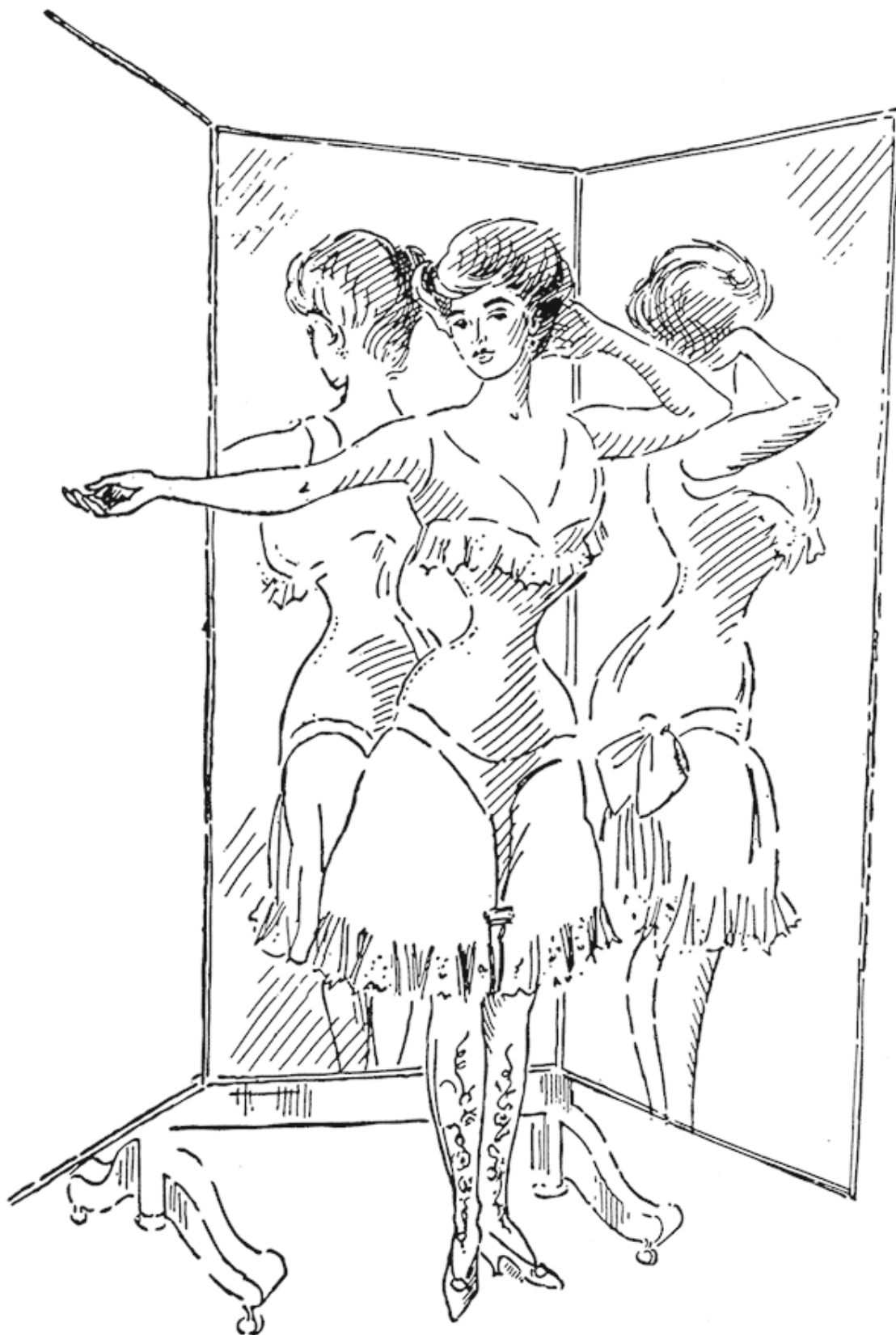
Этот вектор стремительных перемен наметился во время Первой мировой войны; под этим знаком я был рожден в эдвардианскую эпоху. С тех пор мы прошли долгий путь. У меня удивительное чувство, будто он гораздо длиннее моей собственной жизни. Я пришел в наш грешный мир одновременно с первыми самодвижущимися экипажами и электрической лампочкой. Всего лишь за три года до моего появления на свет скончалась королева Виктория и буквально только что на кладбище Пер-Лашез попрощались с Оскаром Уайльдом. Смерть этих людей означала конец Викторианской эпохи – впрочем, мне кажется, что в радушной эдвардианской Англии, где в решении государственных вопросов не обходились без затяжки доброй сигарой, Уайльду жилось бы вполне уютно. И, если в последние несколько лет Викторианской эпохи лондонская жизнь была тягучей и монотонной, то после она на какое-то время засверкала великолепием светских вечеров, может быть, и уступавших в помпезности фран-

цузским раутам времен Луи-Филиппа, но по духу во многом с ними перекликавшихся. Устраивались балы, один роскошнее другого; дамы водружали на голову пучок перьев точь-в-точь как на гербе принца Уэльского и волочили за собой длинный, в несколько саженей, трен.

Жизнь в эдвардианскую эпоху была исполнена беззаботности и денег особо не просила: иной франт, имея четыре сотни фунтов годового дохода, мог посещать балы недели напролет; ему вполне хватало средств на лиловые перчатки и пришпиленную к лацкану фрака бутоньерку. Билет в театр стоил полгинеи. То был золотой век оперетты. Хористки, следуя примеру юной и задорной комедиантки Конни Гилкрест, впоследствии графини Оркнейской, одна за другой становились женами аристократов.



Графиня Т. де С. Э.



У них, как у голубок, пышно вздымалась грудь и округло выпирал тыл

В то время над моей колыбелью склонялись дамы, для которых идеалом фигуры все еще служили песочные часы. Они были затянуты в корсеты, отчего у них, как у голубок, пышно вздымалась грудь и округло выпирал тыл. А на макушке, прямо поверх диадемы, на пучке, обычно торчала шляпка, легкомысленная настолько, насколько может быть легкомысленным

произведение искусной модистки: на голове красовался галеон из серого бархата с парусами из серых страусовых перьев, которые плавно колыхались, или же композиция из искусственных цветов и фруктов. Пожалуй, модный дух того времени наиболее ярко и насыщенно воплотился в нарядах тети Джесси, моей крестной; для меня она была и остается первой модницей.

У таких дам, представительниц состоятельной буржуазии, было принято разъезжать в колясках с послеполуденными визитами. Они надевали лайковые перчатки безукоризненной белизны, в руке держали золотую сетчатую сумочку-несессер, где лежал золоченый карандаш, платочек и золоченый бумажник с визитными карточками. Две такие карточки, если хозяйки не оказывалось дома, гостя вручала слуге, предварительно загнув у каждой уголок, – это означало, что визитка оставлена лично ее владельцем, – и экипаж катил по следующему адресу. Свеженаасыпанный гравий хрустел под начищенными до блеска колесами; этот звук затихал лишь близ домов, где кто-то болел или умирал: перед ними дорогу по обычаю устилали соломенной циновкой, дабы не беспокоить страдальцев.



Пучок перьев точь-в-точь как на гербе принца Уэльского

Эпоха, когда я родился, то есть эдвардианская, послужила мостиком между застывшей обыденностью Викторианской эпохи и промышленным бумом 1910-х годов. Чем-то она напоминала тяжелый жирный пирог, в который, к счастью, добавили достаточно дрожжей, чтобы он сделался съедобным. Этикет и нравы во многом оставались строгими, а в чем-то сдела-

лись мягче; к великосветской пышности вдруг добавилась какая-то перчинка, легкомысленная задоринка. Роскошь перестала быть давящей, стала воздушной и изящной.

Отношение к моде в те годы стало более свободным. И в то же время буржуазия по-прежнему придерживалась строгого викторианского правила: в одежде обязательна индивидуальность, неповторимость. Барышне того времени и в голову бы не пришло порекомендовать подруге портниху – ведь та была кем-то вроде наперсницы или тайного возлюбленного. Скрытность в этих делах доходила до абсурда: нередко, отправившись за платьем, модница затем отправляла своего шофера по другому адресу, дабы замести следы. Уникальность фасонов достигла апогея: если встречались две женщины в одинаковых платьях, это считалось неслыханным позором, причем для обеих в равной степени. Иногда сюжет развивался вполне в теккереевском духе: например, выяснялось, что одна из дам во время вечеринки в загородном доме пробралась в спальню к хозяйке и узнала адрес портнихи. Завистнице это не составило труда: к подкладке наряда всегда пришивалась шелковая бирка.





Широкополые шляпы – куда же без них!

Менялись нравы, и атрибуты уходящего десятилетия – атласные шляпки-токи, парча с узором в виде ирисов или камышей, соломенные канотье и крахмальные льняные юбки – были вытеснены блестками, оборками, кружевами и тюлем, сеточками, пышными боа из страусовых перьев и – куда же без них! – большими шляпами, декорированными цветами клевера и жимолости, перьями райских птиц. Новая мода не просто украшала даму: теперь наряд должен был манить и интриговать почище мантии алхимика, ищущего философский камень.

Современные химики хоть и обзавелись огромными лабораториями, но все же лишились важной части мистической атрибутики, перед которой слепо, но искренне благоговели их средневековые предшественники. Нет тайны – нет и магии. Современные модницы вынуждены активно себя рекламировать, а потому появляться в местах скопления журналистов. Как только произносилось слово «сенсация», дама, о которой это было сказано, волей-неволей должна стать публичной фигурой, знаменитостью, «звездой», за счет которой будут наживаться другие. Говорят, что восторгаться чем-либо возможно лишь издалека, но наш мир слишком тесен.

Конформизм в жизни сулит не только блага. Конформизм посягает на незыблемый закон стиля и моды – закон неповторимости. Мода в прежние времена подпитывалась одним лишь желанием отличаться и выделяться. Сегодня же ее питает совершенно противоположный источник – стремление к стандарту, который воспринимается как нечто спасительное.

Я был слишком юн и потому не мог знать, что десерт «Персик Мельба» был назван в честь знаменитой оперной дивы и что создавший его шеф-повар Эскофье примерно в то же время приготовил к открытию отеля «Карлтон» превосходного цыпленка в шампанском и нафаршировал каплуна сотней с лишним жаворонков, чтобы подать все это королю... Я помню только, что большинство карликовых шпицев в то время носили кличку Понто, терьеры были сплошь Эгбертами, а неуклюжего человека звали недотепой. Еще была игрушка для взрослых – диаболо, вроде песочных часов на шнуре, которые перекатываешь и ловишь при помощи двух палок. У тети Джесси был граммофон с лиловым эмалированным раструбом, напоминавшим диковинный тропический цветок-гигант; оттуда, из цветка, доносились голоса Тетрацини, Альбани и Карузо.

Надев черные лакированные башмаки с серебряными пряжками, мы, дети, отправлялись в школу мадам Шервуд. Там, в танцклассе, нас учили польке и хорнпайпу. Девочки на детском празднике были завернуты в шерстяные шали, а свои бальные туфли – лодочки с бронзовым отливом, на резинке, украшенные маленькой бусиной, – они носили в специальной сумочке. Вечными спутницами девочек были гувернантки: пухлыми пальцами они завивали своим подопечным букли, похожие на рогалики с маслом или трубочки с имбирем, так называемые «слоновьи язычки», которые подавали к чаю или мороженому. Ворота пожарного управления были неизменно выкрашены красным, за ними стояли запряженные белые кони, вышколенные, готовые сорваться с места по первому зову медного колокола. Они неслись по тревоге через город во весь опор, взбрыкивая и раздувая ноздри, словно участвовали в гонках на колесницах. При виде лошадей гувернантки вскрикивали и падали в обморок: они были куда чувствительней, чем сегодня.



Собираясь на неофициальный прием



Сцена в летнем саду после обеда. Матушка в гамаке

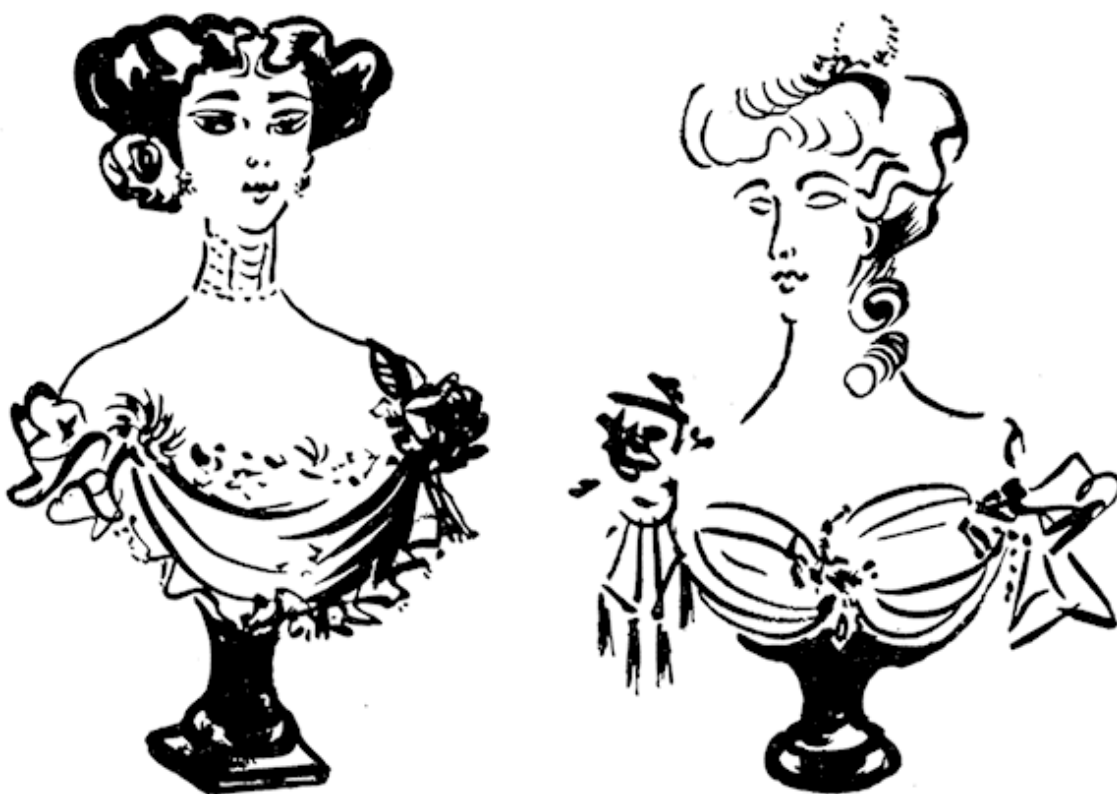
Внутри меня, даже когда я стал взрослым, всегда жил ребенок, который привык не рассматривать картину в целом, а подмечать детали. Так, какой-нибудь узор на платье, виденный мною в детстве, мог произвести на меня колоссальное впечатление и сохраниться в памяти до сего дня, как и многие другие детали и цветовые сочетания, вдохновлявшие меня как художника.

Неудивительно, что, когда мать, следовавшая всем веяниям женской моды, окутанная нежнейшим шелком, приходила пожелать мне спокойной ночи, чтобы затем отправиться на званый ужин, я каждый раз был совершенно очарован. Помню, однажды на ее груди я увидел букет искусственных ландышей: он был припилен к бледно-зеленому шелковому шарфу. Букет стал для меня внезапным озарением: я даже не подозревал, что ландыши можно так искусно подделать. Так я внезапно узнал, что у матери таких искусственных цветов полный ящик. Собираясь на неофициальный прием, то есть туда, где какой-нибудь бархатный баритон будет петь романс Лэндона Роналда (припоминаю из певцов какого-то Хуберта Айсдейла), она могла заколоть на талии букетик цвета «старинная роза». А если она уходила днем «наносить визиты», то платье украшал огромный букет пармских фиалок. На скачки в Аскот она отправлялась в наряде, украшенном непременно живыми цветами – тремя мальмезонскими гвоздиками, каждая размером сантиметров двенадцать. Крепились гвоздики при помощи розовых картонных кружков с прорезью для стебля.

Мать, как и все хозяйки в то время, давала званые обеды и ужины. В день мероприятия времени уделить внимание своей внешности у нее совершенно не хватало, разве что самую малость, зато все столы были с крайней разборчивостью и вкусом украшены цветами. Центр обеденного стола неизменно украшал шедевр декораторского искусства – душистый горошек,

соседствуя с оливками, соленым миндалем, мятными листьями в сахаре и шоколадными конфетами в хрустальной вазе либо на серебряном блюде. Все это означало, что обед парадный: по обычным случаям такое на столе не водилось. На Рождество на столе появлялись консервированные фрукты в хрупких деревянных коробочках: засахаренные груши и сливы, причем, насколько я помню, везли их не из Франции, а откуда-то еще, может, из Швеции или Дании. Еще были банки икры из Риги, а в огромных бело-голубых вазах подавали консервированный индийский имбирь, заказанный в магазине Уайтли или Хэррода.

Тогда еще не прошли времена пышных куафюр. У моей матери не было собственной служанки, и она была вынуждена сама делать себе прическу: обычно волосы зачесывались вверх и укладывались по бокам валиками с наполнителем, чтобы держали форму, и украшались янтарем, черепаховыми гребнями или фальшивыми бриллиантами. Обычно по понедельникам она садилась и кропотливо и обреченно укладывала прядь за прядью, локон за локоном и под конец все равно бывала недовольна. Принималась что-то подправлять, укоризненно глядя на себя в зеркало... и все начиналось сначала. Лицо наливалось кровью, руки затекали, и она не успевала не то что к началу – к концу званого обеда.



Еще не прошли времена пышных куафюр

По особо торжественным дням в доме появлялся усатый господин со светло-каштановыми волосами, зачесанными на пробор. Его провожали в матушкину спальню, и там он на синем пламени спиртовой горелки разогревал большие щипцы. Кажется, я до сих пор ощущаю будоражащий аромат паленых волос вперемешку с запахом метила. Он сопровождал доступные одним лишь взрослым удивительные превращения, за которыми я наблюдал как зачарованный. Помню бой заводных часов с регулярными интервалами, поднимающий в доме переполох, и особенно безумие последних минут перед выездом на ужин или в театр. После того как за матерью закрывалась дверь, комната выглядела так, словно по ней прошел смерч: туалетный столик и пол в пудре, стулья и кровать завешаны непригодившимися платьями, аксессуарами и перьями.

В столь же бурный восторг я приходил, когда матушка занималась украшением дома. Иногда это ее занятие совпадало с весенней уборкой – а уж она в те времена была предприятием капитальным: дом нужно было буквально разобрать на части и собрать заново. По утрам дом навещали невидимые сказочные существа вроде гномов – оттирали трубы и испарялись, едва протрешь ото сна глаза. Ковры, картины, зеркала накрывали от пыли холстиной, и на несколько дней доступ в бульшую часть дома закрывался. Убирали едва ли не тщательнее, чем карантинную палату.

Именно весной матушка принималась подбирать новый тон комнат: присматривала материю для штор и подушек на стулья в гостиной или в «библиотеке» (в которой на самом деле книг не было в помине). Однажды даже классная комната стала серо-лиловой – этакое выхолощенное ар-нуво. Весь декор составляли розоватые муслиновые занавески с рюшами и – смелое решение – простые серые обои с розоватой же окантовкой. Из мебели там стояли светлые, покрытые узором под мрамор стулья с высокими спинками: классический вид им придавала резная роза. Позднее, когда мне выпала честь сопровождать мать в походах за покупками на Ганновер-сквер, я становился свидетелем новых, невиданных до сих пор сцен. Я следил, как она перебирает усеянный цветочками кретон, тафту шанжан, лиловый жаккард. Со временем я стал обращать внимание не только на цвет и детали, но и на узор и прострочку – воспитывал в себе тонкий вкус. Как раз тогда «Evening Standard» начал ежедневно публиковать модные эскизы Бесси Аскоф. Они будоражили воображение, и меня трясло от нетерпения, пока я ждал отца, который должен был вернуться домой и принести новый номер. Свежий карандашный рисунок я раскрашивал акварелью или серебряной и золотой красками, пахнувшими очень странно. По выходным Бесси Аскоф радовала читателей изображением дамы в парадном наряде, украшенном перьями, букетом или шлейфом. Или же эскизом дамы в бальном платье, таким точным, что можно было различить каждый завиток вышивки. Особенно хорошо автору удавались розы: пышные цветы с округлой сердцевинкой, напоминавшие воздушные или бильярдные шары. Дама, державшая в руках большой букет роз, представлялась мне невестой – все равно чьей. Отец поначалу думал, что я так радуюсь его возвращению домой, но наверняка скоро догадался, что меня интересует только одна газета. Однажды он заявил, что забыл купить «Evening Standard». Я страшно разозлился, потому что не понимал, как можно столь безответственно отнестись к такому важному делу. На следующий день мне сказали, что мисс Аскоф взяла отпуск и колонка с ее творениями некоторое время выходить не будет. Как выяснилось позже, ничего подобного не случилось, просто мои родные нашли нужным положить конец нервическим припадкам своего чада. Рисунки Бесси Аскоф, по их убеждению, творили со мной неладное.

Философы говорят, что, взрослея, мы все больше впадаем в детство. Я по-прежнему оставался ребенком, когда со смертью короля Эдварда ушел в небытие и великолепный век – возможно, не навсегда, но я, по крайней мере, до его возвращения не доживу. Счастлив, что родился в эдвардианскую эпоху: во всем происходившем тогда ощущался порядок и стабильность. Этой эпохе удалось взрастить во мне простые ценности и привить изысканный вкус, которым я, сознательно или бессознательно, руководствуюсь всю жизнь.

Глава II

Первая модница: история тетушки Джесси

Тетя Джесси, старшая сестра моей матушки, не отличалась высоким ростом, а потому не считалась красавицей и удостоивалась определений вроде «малютка» и «пышечка»; при этом у нее был безупречный носик, каким не мог похвастаться более никто, – миниатюрный, прямой, гордый, как у античной героини. Впрочем, тетушка моя и была горделивой, как античная героиня.

Она отличалась великолепным чувством юмора, заставлявшим то и дело вспоминать Фальстафа. Прекрасная жизнерадостная женщина, которой суждено было стать трагической фигурой: ее трагедия – трагедия всей эпохи, всего мира – пришла извне. Первую половину жизни она старательно следовала всем веяниям моды и, словно кэрролловская Червонная Королева, устремлялась на противоположный край шахматной доски в погоне за какой-нибудь изящной шляпкой новейшего парижского фасона.



*My aunt Jessie, with Madame Abelmo de Aramayo & Princess Glorietta.
from a photograph 1899.*

Тетя Джесси привела в изумление семью, выйдя замуж за боливийца и уехав в Южную Америку. Там она, едва ли не первая из европейских женщин, прошла на каноэ по Амазонке, верхом на муле объездила отдаленные ущелья Анд, где можно запросто помять шляпку или испортить прическу. Она вновь появилась в лондонском обществе уже в статусе супруги боливийского посланника; англичанка по рождению, теперь она говорила с заметным иностранным акцентом и не сумела от него избавиться до конца своих дней. Она умела быстро приспосабливаться к новой жизни. Вернувшись в Лондон, тетя Джесси стала охотно принимать у себя южноамериканцев, и вскоре их был полон дом: они сидели за столом, болтали по-испански, цокая языком будто кастаньетами, громко смеялись над чем-то, ведомым только им

одним. Моя тетушка была не только богатой и эпатажной, но и в высшей степени радушной и добросердечной. Ее переполняла радость жизни, и даже дети в ее присутствии приходили в радостное возбуждение.



Моя тетя Джесси, одетая по моде 1913 года

Всем своим радостям и удовольствиям в нежном возрасте я обязан именно тетушке, души во мне не чаявшей и баловавшей меня, на что родители мои смотрели косо, ибо полагали, что она дурно на меня влияет. Дай они мне волю, я бы проводил в доме тети Джесси все время: там меня холили, лелеяли, угощали всякой вкуснятиной, так что по возвращении домой я будто парил на крыльях, притом что в животе бурлило и было понятно отчего. Будь у нее собственные дети, она бы их непременно избаловала, как избаловала домашних питомцев. Ее дом представлялся ребенку не чем иным, как волшебным царством, полным диковинного и таинственного. Здесь даже рукомойник манил пуще самой лакомой конфеты: мыло в мыльнице было не желтым, как у нас, а благородно-бордовым, от Пирса, по виду оно напоминало желе и имело еле уловимый волшебный запах. Мыло лежало на краю фарфоровой раковины, поверхность которой была расписана белыми и голубыми ирисами; раковина вращалась на опоре, и из нее удивительным образом исчезала вода.

Не менее любопытной была и тетушкина уборная: фарфоровый ночной горшок, который украшали нарисованные кувшинки, помещался в ящик из красного дерева и был снабжен золотой ручкой, за которую можно было потянуть и услышать нежное бульканье.

На нижнем этаже стояли огромные корзины, украшенные шелковыми бантами и наполненные ананасами, плодами манго, кремовыми яблоками и бразильскими орехами, а в воздухе, хотя был совершенно не сезон, стоял пьянящий аромат сирени. У тети Джесси имелось во множестве то, чего детям обычно нельзя: голландские шоколадные конфеты, французские глазированные орехи, всевозможные острые и пряные испанские блюда, а также экзотические сладости; все это обжигало детский язык или, наоборот, оставляло ощущение легкого холодка.

Домашних питомцев у тетушки водилось великое множество. Многих она привезла из Америки, например мартышку, которая забиралась к ней на плечо и, пользуясь своей недостигаемостью, принималась визжать и трещать, а иной раз с любопытством выглядывала из тетушкиной муфты. Мартышку тетя Джесси звала Шиншиллой, поскольку очень любила этот мех и с удовольствием надевала по всякому случаю – шиншилловыми были ее горжетка, муфта, оторочка на платьях и шляпках. Из собачек помню черного лохматого померанца Ронни, брехливого Кроху и тощего, как скелет, затянутого в черный шелк чихуахуа, трясущегося и с выпученными глазами. Впоследствии число обитателей дома пополнила рыжая белка с колоритным южноамериканским именем Танго, которая облюбовала зеленую шелковую драпировку гостиной и лепной карниз под потолком: ей, верно, казалось, что она резвится в родном лесу где-нибудь под Ла-Пасом или Кочабамбой.





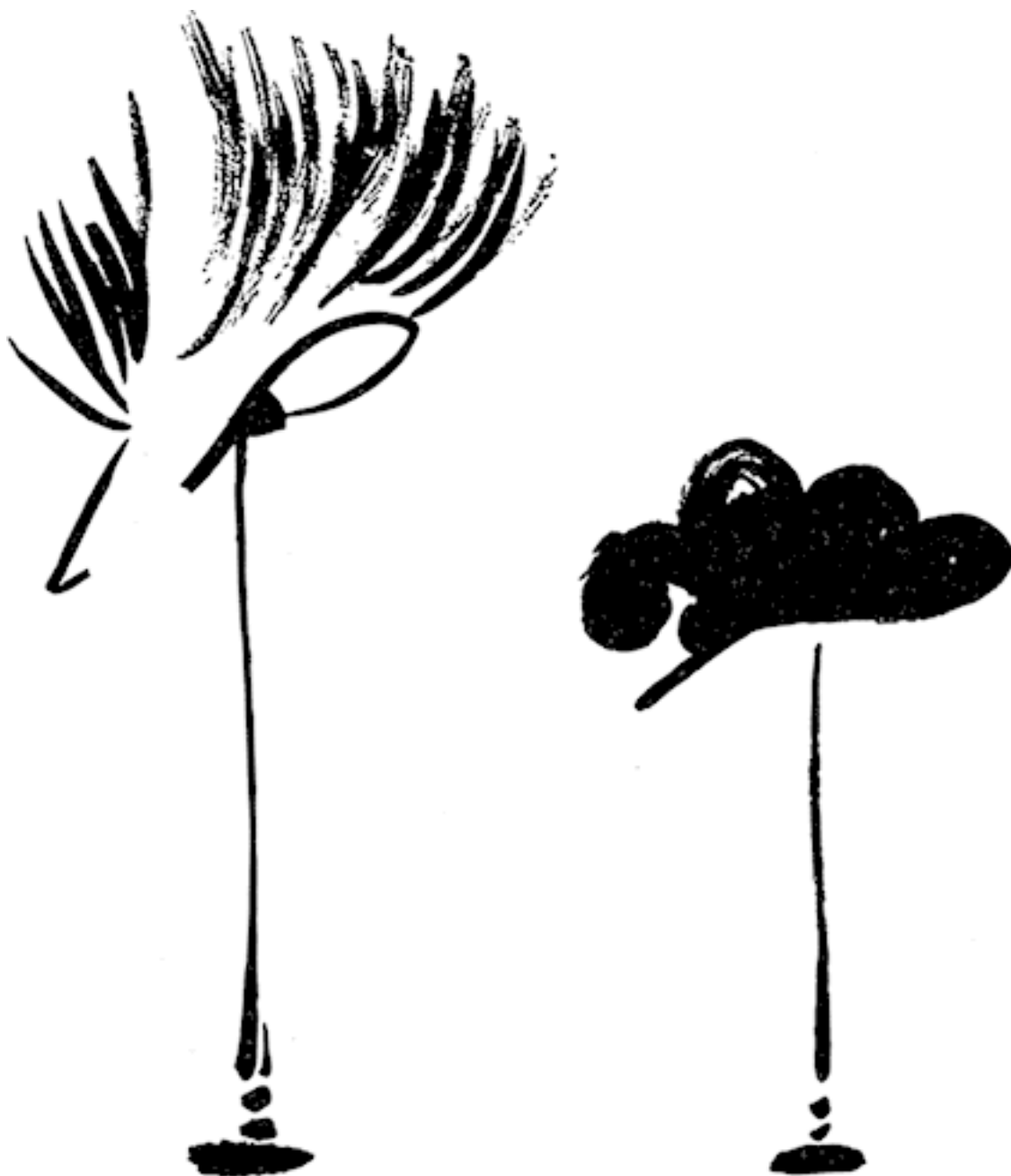
Моя тетя Джесси

По торжественным дням мне разрешалось заглянуть в обеденный зал в аккурат по окончании обеда: я заставал пьянящий запах дыни и сигар. Что не удавалось рассмотреть за эти мимолетные мгновения, то дорисовывало мое воображение: в нем Джесси жила среди роскоши и последних веяний моды. Этот великолепный ореол окружал мою тетушку так же, как кольца дыма от сигар, которые курили за обедом таинственные, но веселые чужестранцы, сплошь в полосатых брюках, черных обеденных сюртуках и в галстуках, заколотых жемчужными булавками.

Именно тетя Джесси впервые позволила мне заглянуть в царство моды, ключ от двери которого имеет лишь взрослый, а ребенку, как Алисе, нужно сначала дорасти до столика, на котором этот ключ лежит. То, что вкус у тети Джесси далек от идеала, мне тогда было невдомек. Я этого не понимал, а поняв, не огорчился. Главное, что такие, как она, получали от встречи с модой истинное наслаждение и пытались разделить эту радость с тобой. Был ли у нее вкус в одежде? Какая разница, главное, что ее вкус к жизни был совершенно безупречным. В итоге, когда ей делали замечания, она не просто их игнорировала, но устанавливала свои правила, так что окружающие навсегда усвоили: кто смеется над ней, того просто точит зависть и лучше смеяться с ней вместе, присоединившись к возникающему внезапно и подхватывающему тебя бурному вихрю веселья.



Шляпные коробки тети Джесси



Несколько раз в год моя тетушка уезжала в Париж погулять по тамошним магазинам. Я ждал ее возвращения как праздника: не представляю, как слугам удавалось затащить по лестнице все прибывшие с ней черные с золочеными замками сундуки и при этом не разбить витражное окно наверху: каждый сундук был подобен входящему в гавань гигантскому пароходу вроде «Королевы Елизаветы» — этакий исполинский гроб, доверху набитый платьями, или туфлями, или корсетами, лентами и рюшами, эгретками, проложенными черной папиросной бумагой или тканями, из которых можно было надделать еще больше платьев. Вдобавок там оказывались десятки метров шитого бисером материала, бархата, парчи, ламе, шифона с переливающимися блестками. Один сундук, заметно больше остальных, был заполнен лосьонами, кремами в горшочках, пудрой в коробочках и всем, чем только можно наводить лоск. Наконец, среди вещей были шляпные коробки: квадратные, вмещавшие каждая по шесть головных уборов. В то время внутри коробки сверху, снизу и по бортам прищипливались жесткие формованные вкладки из сетчатого материала, а помещаемый внутрь убор фиксировали длинной шляпной булавкой за тулью, вот и получалось, что в коробке можно перевезти целых шесть

шляп, не повредив ни одной. А какие головные уборы были в то время! Под огромной круглой крышкой оказывался черный траурный плюмаж из страуса или белая эгретка из цапли, шляпка на вечер, на обед, для пикника в саду и так далее.

Пикник на пленэре у тети Джесси представлялся мне исключительно торжественным событием: я как персоне грата имел возможность общаться с гостями, в отличие от всех маленьких южноамериканцев (не связанных с Джесси родством, а своих детей у нее не было): те завистливо пялились на взрослых из окон над навесом-террасой, устроенным для отдыха и угощения гостей. Помню, однажды я увидел роскошную седовласую американку очень крупного сложения, которую называли мадам Триана. Она сидела под навесом и ела пирожное, одетая в серое с абрикосовым платье: такого сочетания цветов я прежде не встречал, поэтому оно мне запало в душу. Многие годы спустя балетмейстер Фредерик Эштон говорил мне, что детские впечатления всю жизнь приносят проценты. Так и с платьем мадам Трианы: несущественная деталь очень пригодилась мне в жизни, и не один раз.



Лили Элси, Гертруда Глин, тетя Джесси и дядя Педро. С фотографии, сделанной в Биаррице

Тетя Джесси стала мученицей моды и покорно сносила все ее тяготы, как святая Женева Парижская. По праздникам, чтобы добиться желаемого изящества, она натягивала на себя корсет из каучука, с ракеткой в руке отправлялась на теннисный корт и играла, пока пот не польет со лба ручьями. Она мазала лицо холодной сметаной или наносила специальную белую маску для лица и пребывала в ней, не смывая, по многу часов. Несколько раз в моду в качестве косметического средства входил куриный жир, и она нисколько не гнушалась мазать им лицо. А к корсажу могла предательски прилипнуть лимонная корочка, которая помещалась туда как вяжущее средство.

Принарядиться по торжественным дням тетя Джесси просто обожала. То обстоятельство, что на наведение лоска придется потратить полдня, вызывало у нее особое наслаждение:

не из бережливости, но причуды ради она нечасто обращалась к лучшим парижским портным и, вместо того чтобы купить одно хорошее готовое платье, часто приобретала шесть, как она выражалась, «заготовок». После этого она, по обыкновению, делала из обеденной залы или второй спальни ателье, где странного вида портнихи, как будто выращенные в специальном портновском питомнике и привезенные оттуда с иглками, нитками, катушками и выкройками, по образцу имеющихся у тетушки платьев и бальных нарядов кроили новые, но более ярких цветов.

С каким наслаждением заглядывал я тогда за кулисы этого действия! Но еще желанней было получить разрешение присутствовать при одевании тетушки к приему гостей. Это происходило рано утром, поскольку приемы в то время назначали обыкновенно на полдень. На полное облачение у нее уходило четыре, а то и пять часов.

К моменту нашего появления она уже стояла в комнате перед огромным, до пола, зеркалом-псише; волосы были уже уложены, перья закреплены как полагается, на лице пудра, румяна, выражение отчаяния и ни тени улыбки. Еще бы, в дни приема всем было не до смеха – смех, поселившийся в этом доме, сегодня изгонялся из него. Мой отец терпеть не мог, когда женщины красятся. Его категоричность конечно же только распалила мое любопытство. Я в изумленном восторге наблюдал, как тетя Джесси густо красит лицо, шею, руки и спину в белый цвет. Это было специальное средство, которое в моей семье именовали белилами. Веки она покрывала розовато-лиловым, щеки – ярко-розовым, губы – вишневым. Блестящие гирлянды – одна вокруг шеи, еще две в мочках ушей – уже были на ней. Камни у тети Джесси были забавные – мелкие, выложенные завитками-арабесками, словом, совершенно в духе арнуво, по тогдашней моде. Она обожала черный жемчуг; в центре композиции неизменно фигурировали подвеска, ожерелье и серьги с крупными жемчужинами.



Затем портниха притачивала к плечам платья парадный трен, часто из материала удивительно тонкого. Помнится, на одном таком трене черными и серебряными блестками, похожими на головастиков, была вышита и оторочена лебяжьим пухом большая хризантема. Потом она носила другое платье с треном, малиновое, и ее волосы, неизменно отливавшие рыжим, эволюционировали до красноватого оттенка, гармонировавшего с платьем. Пряди плотно прилегали к голове, их держали испанские локоны, спускавшиеся на лоб и спускавшиеся на подрумяненные уши.

Я безмерно благодарен тете Джесси не только за то, что она баловала меня и разрешала одним глазком увидеть взрослую жизнь, но и за то, что познакомила меня с кумиром детства – знаменитой Лили Элси, в то время актрисой музыкального театра, бесподобно сыгравшей веселую вдову в английской постановке. Пожалуй, ни одна актриса оперетты до нее не отличалась такой подлинно женской сдержанностью, достоинством и грацией. На детском празднике в отеле «Карлтон», куда я попал, едва научившись ходить, я смог ощутить, каково это – удостоиться чести встретиться с театральной богиней. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, строго наказал боливийскому дядюшке доставить ей огромный букет пармских фиалок.



Лили Элси в роли веселой вдовы, 1909 год

По прошествии лет судьба, благоволившая тете Джесси, от нее отвернулась. Боливийские концессии, в которые вкладывался дядюшка, прогорели. Забрав жену, он, разоренный, возвратился в Южную Америку, где затем и умер. Овдовевшая тетя Джесси приехала в Англию, прихватив черные с золотом сундуки. Однажды рано утром, когда в доме еще все спали, у ворот позвонили, и на пороге возникло странное скукожившееся создание, в туссоровой

юбке и таком же плаще, в тупоносых кремовых туфлях из телячьей кожи на лакированных каблучках – старых, вышедших из моды, превратившихся, как и сундуки, в музейный экспонат. Одежды из этих сундуков ей должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Там были ноские панамы и другие вещи из прочного материала, которые служили ей до самой смерти.



У нас тетя Джесси поселилась на правах бедной родственницы. Блеска и шика, к которому она привыкла, было уже не вернуть, но она нашла новые радости. Ей было за восемьдесят, но она по возможности не отказывала себе ни в каких доступных наслаждениях: обожала сад, восхищалась каждым листочком, каждым растением так искренне и любовно, как только умела. Тетя Джесси будто давала понять, что в жизни можно всему найти применение. В ход пошел весь арсенал бывшего великолепия, за исключением черных жемчужин, проданных в конце концов из-за нужды. Шиншилловые меха с годами пожелтели, но она упорно держалась за прошлое. Среди этого баракла можно было, как и прежде, обнаружить черные страусовые перья, а рядом – нашивку от того самого розового платья.

И, пожалуй, наиболее трагикомичная участь постигла формованные сетчатые вкладки, напоминавшие о великолепных шляпных коробках, которые в прежние времена заносили наверх по лестнице и складывали у витражного окна. Им в итоге тоже нашлось приме-

ние: через них она, когда готовила на кухне испанские и аргентинские блюда, цедила суп или соус: после смерти мужа тетя пристрастилась к кулинарии. Помню, я позвал на обед приятеля из Харроу. В юности я порой грешил снобизмом, проявлявшимся, в частности, в любви к строгому соблюдению церемониалов. Я так надеялся изумить товарища роскошным обедом, чтобы слуги подали все-все-все приличествующее случаю, а матушка и тетушка сидели бы рядом с юным, но весьма искушенным гостем и степенно вели с ним беседу. В этих обстоятельствах суэта тети Джесси, которая, процедив стряпню через шляпную сеточку, принялась взбивать тесто для эмпанадас и испанских пирогов, показалась мне неуместной. Впрочем, позднее я осознал: все, что делала тетя Джесси, непринужденно, непосредственно, куда более соответствовало правилам хорошего тона, нежели мой напускной, искусственный аристократизм. Жаль, но многое в жизни начинаешь ценить слишком поздно: тщетно пытаешься воскресить в памяти ощущение или человека; они как будто однажды тихонько поселились внутри тебя, словно растения, спустя долгие годы окрепшие и давшие богатый урожай. Чем больше я думаю о тете Джесси, тем больше обнаруживаю великолепных даров, доставшихся мне от нее. Не блистая умом, она тем не менее обладала мудростью и принципами, знала жизнь, людей, была весела, мужественна и отважна. Она пережила Вторую мировую войну и еще долго здравствовала, но здоровье ее вопреки поговорке было не «как у быка», а как у выдавшего виды «роллс-ройса» (ей бы это сравнение непременно понравилось). Если бы не рак, она прожила бы не меньше века. На смертном одре, преодолевая ужасную боль, она не смела жаловаться – лишь пила из ложечки чай так, будто это был нектар; малейшее проявление внимания и заботы со стороны близких действовало на нее как обезболивающее. Однажды хмурым и серым зимним утром ей пришлось покинуть ставшую пристанищем постель: ее повезли в больницу на рентген. Оказавшись в машине скорой помощи, она наотрез отказалась лежать, вместо этого приподнялась и стала с любопытством смотреть в окно, радуясь каждой промелькнувшей ветке дерева или чему-то еще, имевшему отношение к внешнему миру, навсегда – она это чувствовала – от нее ускользавшему.

Меня всю жизнь будет преследовать воспоминание о ее последних днях. Ослабевшая, она лежала на постели. Над ней висел ее портрет в юности: в волосы вплетены бриллиантовые звезды. Художественный вкус ей с успехом заменяло природное добродушие, но она привыкла в течение жизни окружать себя тем, что ей нравилось. Ее комната напоминала скалистый берег, по которому разбросаны источенные временем «камни»: с привезенными из Южной Америки статуэтками Богоматери удивительным образом соседствовали портреты родных и ее самой. Ее нисколько не смущало, что ценнейший антиквариат лежит в одной куче с простецкими деревенскими поделками. Она была истинной католичкой в сердце – и совершенной вольнодумкой во вкусах.

С кончиной тети Джесси будто умерла часть моего детства. Было в ней что-то, чего мне не могли дать даже родители – ведь они, будучи вершителями детской судьбы, часто прибегают к строгости ради того, чтобы их дети стали настоящими людьми. Тетя Джесси же была из совсем чужого и недоступного родителям волшебного мира. Она наполнила мое детство столь дорогими ребенку сладкими грезами. Она дарила мечту, а уходя от нее, ты вновь погружался в реальность.

Когда открыли ящик Пандоры и выпустили нечисть наружу, на дне осталась Надежда. В данном случае Надежда имела вид шиншилловой горжетки. Серый с абрикосовым, мартышка, сеточки в шляпных коробках, долгие прихорашивания перед праздником... Пожалуй, я очень виноват перед ней тем, что я на самом деле человек абсолютно не сентиментальный, а, наоборот, сухой и практичный, а потому я прячу в сундуки воспоминания о ней, как она когда-то прятала туфли, страусовые перья или розовый трен, потому что в жизни может пригодиться все. Тетя Джесси меня бы раскусила – всю ее жизнь я был для нее как открытая книга – и была бы на моей стороне.

Глава III

Грим и свет рамп

Неверно полагать, будто наш вкус формируют исключительно эстетичные вещи: нередко их художественная ценность сомнительна. Известно, что даже для великих писателей источником вдохновения служили стихи и проза весьма низкого сорта, Моцарт и Бизе черпали идеи в популярных народных песнях, а Генри Джеймс с упоением внимал старушечьим пересудам. Для меня таким источником вдохновения стали первые увиденные мною в жизни театральные постановки, декораторами для которых выступали люди явно невысокого художественного таланта, но я решительно признаю, как глубоко они на меня повлияли. В начале века было модно подсвечивать сцену янтарными софитами – декорации и костюмы обретали четкость линий, но вот цветовая гамма совершенно терялась. В оперетте, практически без исключения, господствовали пастельные оттенки. В аванзале приюта Мельпомены можно было увидеть мраморные колонны, обои, обюссоновские ковры, гортензии, в нежной темно-розовой гамме. Пастельного цвета наряды украшали и дам, причем в этом однообразии имелись особый шарм и притягательность. В театральной программке помимо неперенных рекламных объявлений «Папиросы от Абдуллы», «Туфли от Бейнса» и «Декорации расписаны Харкерами» неизбежно значилось также: «Цветовая гамма Комелли». Кем был этот синьор Комелли, узнать мне так и не довелось, наверно, жил за кулисами такой добрый волшебник, повелитель всего лилового, розоватого и молочно-белого, что имелось в избытке в этом странном театральном мире. Наряды примы были непременно «от Люсиль» – шедевры тончайшей работы. Женщины тогда должны были носить платья-туники с завышенной талией в духе Франции времен Директории, любившей все античное. Платья были длиной до пола, подол заканчивался бисерной бахромой или переходил в шлейф. Люсиль предпочитала нежные ткани, расшитые бисером и пайетками, с тонкими кружевными вставками, двойными узелками, а также гирлянды из свежих роз. Портниха тончайшим образом чувствовала цвет, так что детали, едва ли различимые издали, тем не менее повергали зрителя в необъяснимую дрожь. Люсиль не гнушалась и прочими красками: иногда оттеняла наряд ярким поясом, добавляла насыщенные лиловые и зеленые тона, могла позволить себе даже кремово-розовый или оранжевый. Наконец, для особых случаев был приготовлен смертельный удар: элемент из черного шифона или бархата с бриллиантовой россыпью по кайме.

В свете Люсиль была известна как леди Дафф-Гордон, она приходилась сестрой романистке Элинор Глин, но нашла собственное ремесло. Сегодня вещи ее работы воспринимаются многими как образчик чего-то будуарно-торшерного, как маскарадный костюм, но в то время работой Люсиль восхищались, и влияние ее на моду было велико. Ей первой из англичанок удалось снискать славу модельера равно в Лондоне, Париже, Чикаго и Нью-Йорке. До наступления эпохи Люсиль парижские портные, по обыкновению, выставляли в витринах совершенно непримечательные манекены: поверх атласных трико с горлом и рукавами надевали наряд от Дусе или Ворта. А все потому, что считалось неприличным оголять части женского тела; Люсиль закрытые черные трико решительно отвергла и наняла живых манекенщиц. Среди них были Хиби и Долорес, прославившиеся благодаря ей на весь свет. Их современник, художник Этьен Дриан, возмущенно замечал, что эти статные красотки в витрине, в платьях с тренем и с тюрбанами на голове, напоминают ему нелепых бесстыжих каракатиц.



Лили Элси в наряде от Люсиль, 1910 год

Люсиль была не только новатором – она также стала учителем для нескольких модельеров, в том числе для Эдварда Молинё, который в начале своей карьеры делал для нее эскизы и постоянно торчал в ее великолепном доме на Ганновер-сквер.

Если в костюме преобладали разнообразные пастельные тона, то цветовая гамма косметики была куда строже: губы не должны были быть красными – только коралловыми, тон лица – кремовый и персиковый. Волосы – исключительно светло-каштановые: тот желтоватый пергидрольный оттенок, за который мы сегодня девушку называем блондинкой, в то время был способен вызвать лишь жалость. Пожалуй, искусство ухода за собой в те времена было на весьма примитивном, по сравнению с сегодняшним, уровне, но в то же время находились барышни – танцовщицы из «Веселой вдовы» и «Принцессы долларов», – которые владели макияжем в совершенстве.

Габриэль Рэй была не слишком талантлива ни как танцовщица, ни как актриса, но обладала имитаторскими способностями. Она была достаточно умна, чтобы сотворить из себя писаную красавицу и внушить публике, что она таковой и является. Она изящно поднимала головку, поправляла густые шелковые локоны, вешала через плечо соломенную шляпку на тесьме и превращалась в копию девушки с иллюстрации к волшебной детской сказке. Казалось, что уста ее источают мед, столь приторно нереальной и порочной была ее внешность. Образ Габриэль Рэй предвосхитил работы Мари Лорансен, изображавшей изнеженных дам с цветами и лентами в волосах. Главную роль в опереттах, где выступала Габриэль, исполняла Лили Элси; много лет спустя Лили рассказывала мне о том, какие опыты с косметикой ставила ее подруга по труппе.

Когда-то увлекавшаяся пуантилизмом в живописи, Габриэль Рэй перед выходом на сцену ставила кистью в уголках глаз пару лиловых и зеленых точек, а у краешков ноздрей – лиловые и красные. Аккуратно и методично, не хуже Жоржа Сера, она рисовала тени на веках и висках, добиваясь оттенка шампиньона. Щеки же ласкали взор оттенками розового – от коралла до шиповника. По подбородку она проходила кроличьей лапкой, обмакнув ее в терракотовую пудру, мочки ушей и кончик носа подкрашивала в цвет семги, и публика рукоплескала удивительному созданию, похожему на китайскую фарфоровую куклу.



Габриэль Рэй

Из всех актроек именно эта танцовщица лучше всех умела позировать фотографу. Она, несомненно, предвосхитила и эпоху лицевой пластической хирургии: встав перед объективом, она просила двух помощниц встать по сторонам и натянуть у нее под носом шелковую нить, чтобы носик на снимке получился, как и положено, вздернутым. Не одаренная талантом, зато отличавшаяся богатой фантазией, Габриэль Рэй за свою недолгую карьеру сама превратилась в маленький шедевр. Слава актера или танцора редко переживает его самого. Все зависит от таланта и достигнутого успеха: таких балерин, как Мария Тальони или Карлотта Гризи, помнят до сих пор, в том числе по изображениям на гравюрах XIX века, увековечившим дух балета эпохи романтизма. История театра сохранила имена Бенуа-Констана Коклена и Сары Бернар. Фигур помельче, бабочек-однодневок, проживающих короткий век на сцене и исчезающих без следа, гораздо больше. Людям, родившимся после 1920 года, никогда не приходилось слышать, скажем, о Габи Делис, немного актрисе, немного танцовщице, главный талант которой заключался в стремлении к роскошной жизни. Она блистала, когда мне было пять или шесть лет от роду; когда мне исполнилось 16, она скончалась. Своим первым знакомством со взрослым миром моды я обязан тете Джесси, своей первой влюбленностью – Лили Элси из «Веселой вдовы». Однако именно благодаря Габи Делис я узнал, что такое искусно наведенный лоск, точно просчитанный эротизм, способный воздействовать целенаправленно, пробуждая у мальчика пубертатного периода страстные фантазии.



Мне не разрешали ходить на ее спектакли, матушке казалось неправильным поощрять мое увлечение этой субреткой, но я следил за ее судьбой неотступно. Родители наверняка читали в светской хронике или, может быть, слышали от знакомых о том, что актриса никогда не отказывалась от дорогих подарков. Она не делала секрета из своей частной жизни, открыто выступала за свободную любовь и с подкупающей искренностью заявляла: «Деньги — единственный бастион, где девушка может укрыться от превратностей жизни. Однажды взяв, я никогда не возвращаю». Ценность же ее самой было впору мерить на вес: со всеми бриллиантами, жемчугами и изумрудами эта леди стоила примерно три тысячи долларов за фунт.

Помимо журнальных фотографий Габи Делис, на которые я набрасывался жадно, как ботаник на редкое растение, я сумел войти с ней в контакт и иным способом, через посред-

ство тетушки Джесси. Она частенько рассказывала мне, как имела счастье побывать на утреннем спектакле, и во всех красках расписывала, какая была на артистке восхитительная мантия из перьев, каким милым жестом она срывала с головы шляпку, сооруженную из эгреток, и швыряла на другой конец сцены, на стоявший там шезлонг, под восторженные вздохи зрителей. Те, кто издавал эти вздохи – включая тетю Джесси и меня самого, внимательно разглядывавшего фотографии, – отлично знали: жемчуг на Габи стоит целое состояние, изумруды – самые что ни на есть настоящие. Они достались артистке за то, что она придумала свой собственный неподражаемый танец – другим женщинам оставалось лишь ее превзойти.

Габи Делис в некотором роде была символом переходного периода. Ее предшественницами были великолепные парижские кокетки конца XIX века. Будучи театральной звездой, она предвосхитила появление целого направления моды и шика, символом которого спустя двадцать лет стала королева экрана Марлен Дитрих. Критики в один голос твердили, что голосок у Габи как у канарейки, да и танцует она в целом дурно. Но остается вопрос: был ли тот окружавший ее ореол роскоши естественным или фальшивым? Мир, как известно, падок на фальшь – не я один восхищался Габи, ей рукоплескали страны и континенты.

Кругленькая, как страусиха, она имела черты и пропорции, далекие от классических, однако непостижимым образом к ней невозможно было придраться. Так, нос ее, мясистый, грушевидный, приплюснутый, великолепно подходил к вишневым губам. Да и вся она была будто съедобной – этакая фруктовая корзина. Это сравнение подчеркивали округлые груди с сосками мягкой формы. Нежная гладкая кожа цветом напоминала фрукты со взбитыми сливками, шелковистые волосы ее имели зеленоватый оттенок золотого марципана – как у Дориана Грея или, еще точнее, как у младенца в коляске. На ангельском личике выделялись печальные, полные нежности глаза, как у сенбернаров с романтических полотен сэра Эдвина Ландсира; тяжелые веки и роскошные печальные брови так и источали сострадание к ближнему. Стоило ей чуть улыбнуться спелыми губами, как обнажался мелкий жемчуг зубов. Улыбка ее была чувственной, игривой, добродушной, но несла на себе печать чего-то трагического, будто ее обладательница понимала: прелестным звукам вальса однажды суждено смолкнуть.



И вот с такими данными Габи Делис, обладательница совершенно варварского вкуса, бесстрашно ходила над пропастью по тонкому канату, рискуя сорваться в бездну вульгарности. Ее тянуло украсить себя всю с головы до пят, облачиться, подобно туземному вождю, в бесчисленные щитки и перья и выйти к соплеменникам. Ее своеобразный вкус гнал ее в чашу перьев и эгреток, к россыпям бриллиантов, шифону и мехам; так рождался новый стиль, который потом переймут звезды «Фоли Бержер» – клоунесса Мистангет и ее многочисленные последовательницы. Но у подражательниц часто получалось, скажем так, довольно безвкусно – да не воспримется эта моя фраза как насмешка: подобные наряды могла себе позволить только такая особа, как Габи Делис, более эксцентричная, чем сама эксцентричность.

Какие бы невероятные наряды она ни носила, они были отмечены особой элегантностью, впитавшей моду разных эпох. Так, в одном наряде могли сочетаться высокая талия, юбка как у восточной танцовщицы и огромный, украшенный бантами и перьями капор. Не было ничего такого, чего бы она опасливо избегала, будь то украшения, кружева, меха, бахромы

со стеклярусом, как на абажуре, и, конечно, перья в невероятном изобилии: лебяжий пух, перья райских птиц, скопы, цапли, не говоря уже о петушиных или цыплячьих. Выступая в годы Первой мировой перед солдатами, она одевалась соответственно их ожиданиям: затягивалась в черный шелк и светло-вишневый бархат с шиншиловой оторочкой, шею увешивала гроздьями грушевидных жемчужин. Прическу ее украшала сдвинутая набок шапочка-горшочек, отделанная перьями райских птиц.

Эпоха диктовала моду на закрытые платья, но Габи вопреки всему считала нужным открыть грудь ровно настолько, насколько позволяли приличия. Она взяла за правило показывать и ноги – кружевные чулки, облегающие округлые ляжки и икры, на маленьких ступнях – крошечные тупоносые туфли на высоченных каблуках, украшенные сверкающими черными пряжками и сплошь усыпанные хрустальными бусинами. Однако кульминацией любого ее костюмированного выхода неизменно была шляпка, которая чаще всего напоминала пропеллер аэроплана или птицу авангардиста Бранкузи: сооружения из газа расцвечивались перьями тропических птиц, попугаев, фламинго. Словом, настоящий птичий двор. Иногда ее наряд нес в себе легкий пиротехнический эффект: украшенная драгоценными камнями шапочка с пучком перьев цапли и страуса выглядела как прощальный залп салюта.

Должно быть, в своей театральной жизни Габи Делис стремилась поддерживать образ, созданный ею вне сцены. Она играла – играла с расчетом понравиться публике. Она сделала так, что ее успехом наслаждались все остальные. Как и в случае с царем Мидасом, все, к чему она прикасалась, превращалось в золото. На ее автомобилях, одежде, украшениях и перьях лежала печать роскоши. Чем шикарнее и скандальнее была ее жизнь, тем больше ее обожали. Она сумела возвести свою безнравственность в нравственный абсолютизм и отличалась настолько живым и веселым нравом, что совершенно не вызывала насмешливого презрения, с коим обычно относятся к содержанкам.

Кроме того, в то время любовь к роскоши не считалась пороком. Все, до последнего бутафора и декоратора, восхищенно следили, как за актрисой к служебному входу подъезжал лимузин с шофером и лакеем в ливреях, поражающих элегантностью и подбором цветов. При этом корпус автомобиля – «рено», «даймлера», «роллс-ройса» – мог быть украшен причудливым плетением или выкрашен в белый цвет или модный тогда горчично-желтый оттенок, называемый «дыханием слона». Она садилась в машину, ее головка возникала в рамке окна, и она чинно удалялась – ни дать ни взять царица Савская. Такой мне довелось увидеть ее в лондонском отеле «Ритц»: это личико в окошке автомобиля, удивительно изящно подсвеченное, словно появилось из потустороннего мира. Рокошующий «роллс-ройс» пронесся мимо, оставив шлейф соблазна с оттенком озорства и порочности – и роскоши, каким-то чудом не скатившейся до вульгарности.

Конечно, она была лакомым кусочком для бульварной прессы: ее репутация «женщины в цвету» подкреплялась фотографиями с отдыха в Монте-Карло, на Ривьере. И дело было даже не в самой Габи, прогуливающейся по эспланаде; внимание публики привлекал ее очередной наряд, довольно вычурный, но тем не менее тут же находивший множество подражателей. Разглядывая фотографию актрисы в костюме из туссора цвета экрю и огромной угольно-черной шляпе с нагромождением пышных роз или же в бархатном платье, украшенном алмазной сеточкой, я чувствовал себя первооткрывателем неведомых земель. Экстравагантными были даже ее домашние питомцы – мексиканские собачки чихуахуа, тощие и дрожащие. Они выглядели так, будто не переживут субтропическую зиму в Ницце, если их немедленно не закутать в русские соболя. Габи Делис так и поступала.

И вот однажды я увидел ее совсем близко. В тот день театр давал представление на открытом воздухе, и меня, школьника, повели в сад смотреть. Спектакль был благотворительным, актрисы сами торговали мороженым или продавали публике свои снимки, о чем громко объявляли в рупор и без рупора. На Габи Делис было малиновое платье из тонкого кружева, голову

венчал нелепый пропеллер из таких же малиновых перьев, на груди подрагивали малиновые орхидеи, ноги были затянуты в малиновые кружевные чулки, и даже туфельки были малиновые с малиновыми завязками крест-накрест. В довершение всего на ее зефирном лице ярко выделялись малиновые щеки и губы. Выглядела ли она вульгарно? Возможно. Но по чьим меркам? Похоже, Габи сумела переступить черту, за которой заканчивается вульгарность и начинается неповторимый шарм.

Лондон узнал Габи Делис, танцовщицу и субретку, еще в 1903 году, и все же ее истинное «я» раскрылось в водевиле. Стоило ей начать петь фривольные французские песенки, включить в танец некоторые акробатические элементы и облачиться в невероятный наряд, как к ней пришел успех. Огонек ее славы, занявшись, начал разгораться, превращаясь в невиданный лесной пожар. Вскоре весь мир заговорил о Габи – любовнице молодого короля Португалии Мануэла, который потратил на нее уйму денег и подарил жемчужные бусы такой длины, что она могла несколько раз ими опоясаться. Газеты наперебой рассказывали, как португальский казначей пришел в ужас, узнав о том, какие богатства достались этой барышне, и как восстали португальцы, будучи не в силах терпеть расточительность монарха. Вероятно, так оно и было: соломинка – Габи Делис – сломала хребет португальскому верблюду. Так или иначе, когда Мануэл был свергнут, актриса тут же порвала с ним и, прихватив знаменитые бусы, торжественно укатила покорять театральные подмостки Америки. Она ухитрилась заключить контракт сразу со всеми конкурирующими импресарио – и с Фло Зигфельдом, и с братьями Шуберт, и уже на начальном этапе ее жалованье составило 18 тысяч долларов в месяц. По тем временам это была астрономическая сумма.



Кульминацией любого ее костюмированного выхода неизменно была шляпка

Газетчики подсчитали, что прославленная Габи привезла с собой в Америку бриллиантов на сумму 320 тысяч долларов, что она строго-настрого запрещала упоминать свое имя в связи с королем Мануэлом, требуя, чтобы ее ценили исключительно за ее собственные заслуги. Поскольку она уже была символом всего самого экстравагантного в европейской моде, Нью-Йорк охотно вознес ее на пьедестал.

К ужасу многочисленных суфражисток, она неожиданно появилась на бродвейских подмостках, в театре Уинтер-Гарден. В очаровательную гостью, совсем как в романе Макса Бирбома «Зулейка Добсон», влюбилась поголовно вся молодежь Йеля и Гарварда.

Притом что зиму Габи проводила в Нью-Йорке, одежду она покупала в Париже, а постоянно проживала в Лондоне, в районе Найтсбридж, в доме с алой геранью на зарешеченных окнах. Интерьер был роскошен и крикливо безвкусен. Когда фотографы предлагали снять ее на скрытой в алькове резной позолоченной кровати с пологом и лестницей в три ступеньки, прима великодушно соглашалась. Я видел ее фотографии с сестрой за завтраком в комнате с кессонным потолком и дубовыми стенными панелями: барышни сидели за сервированным напоказ длинным обеденным столом, посредине которого возвышалась серебряная супница, полная орхидей. На удивление хорошо запомнился мне хрусталь, которым был уставлен этот стол.

Однажды, отправившись с визитом к известному драматургу Джеймсу Мэтью Барри, занимавшему в то время верхний этаж в знаменитом доме Аделфи, мисс Делис совершенно вскружила ему голову. Уходя от него, она сбежала вниз по лестнице, звоня во все двери. Влюбленный сэр Барри написал для нее, молодой звезды, сценарий очень выигрышного номера, озаглавленного весьма художественно – «Великолепная Роза». На первой же репетиции Габи вышла на авансцену, нашла глазами своего обожателя, поклонилась и молвила: «Я не умею ни танцевать, ни играть, ни петь. Но эта роль по мне».

И сегодня, листая потрепанный номер «Татлера» и вдруг наткнувшись на фотографию Габи Делис, на которой она в собранной складками балетной пачке исполняет ею же придуманный танец, или где она на приеме «для своих» в напоминающем паутину кружевном платье сидит, изящным жестом подперев головку, и в ее взгляде читается трагедия, я ощущаю, как по спине у меня бегут мурашки. Эта женщина могла быть разной, но она никогда не походила на других, а для меня так и осталась тайной.





Gaby
Delslys

Кто-то скажет: чудачка, ничего не смыслящая в моде, не имевшая вкуса. К сожалению, люди часто неверно трактуют понятие шарма; это свойство – редкое, эфемерное, неуловимое – часто обнаруживалось у особ с довольно сомнительной репутацией. Дело в том, что, в какую бы эпоху мы ни заглянули, символом ее всегда будут служить эксцентричные особы. Что позволено носить африканскому вождю, на актрисе Габи Делис будет воспринято как вульгарный наряд. Почему? Ответ очевиден. Мы упрекаем ее в дурновкусии только потому, что потакаем общественным предрассудкам. И наоборот, если мы оцениваем наряд африканца высоко, зна-

чит, мы позволяем себе уйти от шаблонов стиля и пытаемся смотреть на вещи его глазами. Получается, что и вкус, и условности переменчивы. Вкусовые условности куда менее интересны, чем вкус отдельно взятого человека.

Фрэнсис Бэкон заметил, что красота всегда связана со странностью пропорций. Все же Габи Делис от остальных отличало нечто большее, чем экзотический наряд и вызывающее поведение. Согласно последним исследованиям, стиль создают не подражатели и даже не модельеры, будь они трижды талантливы и авторитетны. Можно заставить женщину купить платье от Диора, но пойдет ли ей оно – еще вопрос. Стил – это прежде всего плод яркой индивидуальности, которая не просто способна придать свои экстравагантные черты целой эпохе – она и создает эту эпоху.

Люди уверены, что все хорошее попадает к нам из Парижа, вот и Габи Делис поначалу считали француженкой. Позже выяснилось, что к Франции она отношения не имеет: ее происхождение и национальность до сих пор под вопросом. Свое состояние она, подобно герцогине Мальфи из пьесы Уэбстера, завещала беднякам Марселя. Даже смерть ее окружена романтическим ореолом: врачи нашли у нее неизлечимое заболевание горла и склоняли к операции как к последнему из возможных средств, но она предпочла умереть, чем жить со шрамом на изящной шейке. В течение последующих десятилетий за ее имущество не раз судились, а секретные службы пытались установить личность скончавшейся чаровницы, считая ее фигурой не столько загадочной, сколько сомнительной. Говорили, что она на самом деле венгерка; несколько раз возникали незаконнорожденные дочери Габи, демонстрировавшие в подтверждение своих слов родимые пятна; спустя десять лет в ее склеп в Марселе, проделав отверстие в стене, влезли воры.

Для меня Габи Делис – воплощение довоенной эпохи, символ, вместивший куда больше, чем она сама могла вместить как личность. Кто сегодня назовет имена десяти первых модниц, прославившихся на закате эпохи славного короля Эдуарда? Думаю, их и в то время никто бы с ходу не перечислил. При этом, когда кто-то вроде меня припоминает что-нибудь из детства – песенку, летний пикник, – на ум сразу приходит Габи. Она, как и мода, – ярчайший пример торжества эфемерности.

Глава IV

Дамы полусвета



В жизни и в романах понятие полусвета сопряжено с такими вещами, как влюбленность, страдания, краткие минуты веселья и гипертрофированные выплески эмоций. Полусвет, отделенный от высшего общества, погруженный в свою неповторимую атмосферу вечера при свечах, сегодня, увы, знаком нам лишь по воспоминаниям Марселя Пруста и прекрасной Коlette. Дамы сомнительного происхождения – экзотические цветы, возвращенные в теплице всех доступных миру удовольствий, – расцвели, легко найдя отведенное им по умолчанию место под солнцем. Эти гурии, приставленные служить великосветским господам, до одури наслаждались беззаботностью и роскошью. Так продолжалось полвека: с началом Первой мировой войны образ жизни джентльмена стал куда менее разгульным и праздным, и этот блистающий, в чем-то очень милый мир полусвета постепенно стал исчезать или, по крайней мере, лишился внешнего лоска.



Эти дамы были прирожденными королевами шика

Корни этого явления следует искать в эпохе романтизма: уже тогда перешли в наступление парижские кокотки, с умением военных стратегов занимая высоты театральных лож. Оттуда они высматривали в лорнет молодых холостяков, а также женатых мужчин, чье добродушие наверняка будет подкреплено солидной чековой книжкой. Можно сказать, что расцвет эпохи куртизанок пришелся на внешне целомудренные 80-е годы, но вообще эти прелестнейшие и хорошо воспитанные создания досидели за столиками в «Максима» и в частных ложах театров вплоть до Первой мировой войны. Все это время они вдохновляли модельеров и ювелиров на самые головокружительные эксперименты. Об этих элегантных красотках, прохаживавшихся по полю ипподромов Лоншана и Довиля, один кутюрье писал так: «Молодые кобылки, перед тем как пуститься в галоп, прогарцевали перед хозяевами, все в мехах и с гигантским плюмажем. Семенящая птичья походка, королевские манеры, величественно поднятая голова. Укутавшись в шиншиллу, они выглядели на все десять тысяч луидоров. Джентльмен знал, за что платит.



Эти дамы словно родились для роскоши. Так что конкуренция была высока: стремясь снискать славу, парижские портные состязались в изобретательности и смелости. В ранний час, когда скачки открывались, помощницы портных еще втыкали булавки в ткань – при этом к началу мероприятия платье неизменно было готово».

После 1914 года этому блистательному обществу, как, впрочем, и многому другому, настал конец. Гарри Мелвилль сетовал на то, что послевоенные кокетки стали слишком «гольф-клубными». Сегодня профессия куртизанки практически вымерла, стала анахрониз-

мом, либо навсегда переродилась, опошлилась и утратила всякую связь с образом красавицы в шикарном экстравагантном туалете.

Богини полусвета, навсегда канувшего в Лету, были проститутками, но проститутками высочайшего класса. При всей любви одеваться ярко и вычурно они не переступали черту вульгарности, в противном случае они бросили бы тень на своих покровителей, отличавшихся хорошим вкусом. Поэтому золото, слуги, акции и облигации им достались по праву. Лучшие представительницы этой сомнительной профессии жили в собственных домах и квартирах, знали, как обходиться с прислугой, как выбрать еду и вино, прекрасно умели развлечь гостей, которых пригласил их кавалер, при этом делали это с подкупающей беспечностью, каковой не доставало этим господам у них дома: когда респектабельная куртизанка грациозно сходила со ступенек экипажа и направлялась в Булонский лес выгуливать афганских борзых, с ней не могла соперничать ни одна герцогиня. Не менее элегантно смотрелись эти дамы и в магазине платья, где их принимал сам великий Жак Дусе – аккуратная борода клинышком, гвоздика в бутоньерке, ни дать ни взять иностранный посланник. Конечно, пути герцогини и парижской кокотки в то время не пересекались в принципе, не случалось этого и в последующие двадцать лет, а когда наконец случилось, кокотки исчезли как класс. Как остроумно заметил Кристоаль Баленсиага, вчерашняя кокотка выросла в солидную даму.



Она направлялась в Булонский лес выгуливать афганских борзых



Королевы полусвета особенно не стремились обрести статус, узаконить свое положение, выйдя замуж за покровителя. Бывало, они влюблялись, как у Колетт в романе «Шери», в мужчину своего круга, но не могли оставить свое священное ремесло. Если вдруг аристократка замечала джентльмена из своего круга в обществе кокетки, и речи не шло о том, чтобы отпустить колкое замечание в его адрес или в адрес его спутницы. Наоборот: обедая в обществе загадочной дамы в жемчугах, кружевах и вычурной шляпке, мужчина-аристократ будто облачался в плащ-невидимку – его высокородные друзья его не замечали, как если бы его не было вовсе.

Некоторые из этих ярких и известных в свете дам имели некоторое отношение к театру. Они фотографировались в богато украшенных гостиных, одетые в negligé из невесомой воздушной ткани, и подпись под снимком нередко гласила, что это «известная актриса». Большинство наслаждалось роскошью в Париже, некоторые предпочли Лондон.

Последней представительницей полусвета, пожалуй, была ослепительная блондинка со шведскими корнями, некая Жаклин Форзан; ее звезда взошла накануне войны и закатилась незадолго до ее окончания. Она была изящна и грациозна, фигура ее имела совершенно неповторимые линии, а кожа славилась ослепительной белизной. Носик у нее был маленький и округлый, а соблазнительно приоткрытые губы – ровно такие, какие нужно. Все в ней словно призывало к близости. Негритянские глаза, подчеркивавшие бледность ее личика, придавали ей удивительный шарм – не меньше того, коим отличалась ее соперница, актриса Женеви́ева Лантельм. При этом на фоне этой знойной блондинки Форзан выглядела скромнее, строже и куда загадочнее, кроме того, в ней не было ни тени вульгарности. Она была будто растворена в благоухании пармских фиалок и казалась недостижимой.





Форзан, 1911 год

Длинные волосы ее были распрявлены и сильно приглажены, на античный манер, – можно сказать, что Форзан предвосхитила моду на аккуратные мальчишеские стрижки 20-х годов. Хотя в то время считалось элегантно ходить, подав корпус несколько вперед и прогнув

его подобно скользящей по воде лебедушке, осанка у Форзан была совсем иной: она, напротив, отклонялась назад, слегка выставляла вперед бедра и шла строго по прямой линии. Под мышкой она носила туго свернутый зонтик, при этом другой рукой удерживала на поводке – ни много ни мало – двух афганских борзых, отчего манжета задиралась до локтя.



Они умели произвести впечатление, и притом с большим художественным вкусом

В отличие от большинства современниц она предпочитала не слишком подогнанный по фигуре наряд, видимо полагая, что в свободном крое есть свое очарование.

Особый шик платью в стиле Директории придавали белые и серые гофрированные шифоновые ленты, спадающие вниз от высокой талии. Фурор произвел и ее костюм из тонкого черного сукна в сочетании с гетрами до щиколоток и плотно сидящей шляпкой-током, украшенной перьями цапли. Один из моих знакомых, человек впечатлительный, видел, как она вышла из эффектного синего авто и направилась в магазин, вскинув головку подобно голубице; в память моего приятеля навсегда врезалась зауженная драпированная юбка с разрезом до колена, закутанные в шиншиллу плечи и изящные руки, а еще тюрбан, из которого произрастала пышная эгретка.

Форзан и другие дамы полусвета умели постоянно подогревать интерес к себе, причем не только у мужчин, но и в своем кругу. Может быть, в то время произвести фурор было проще, чем теперь. Когда Форзан входила в ресторан лондонского отеля «Савой», все вокруг вскакивали с кресел, пытаясь разглядеть гостью. Ее пусть и довольно странный, но неподдельный природный шарм в то время будоражил кровь сильнее, нежели теперь, и всегда одерживал победу над мимолетными модными веяниями. По крайней мере, по дошедшим до нас снимкам совершенно ясно, в чем именно она превосходила современниц.

Конечно, людям наших дней трудно оценить, насколько прогрессивны были эти дамы по части моды: нам с тех пор навязали столько пустых подделок, что мы сделались слепы и разучились видеть подлинный вкус. Так, например, до появления актрисы Евы Лавальер женщинам даже в голову не могло прийти собирать волосы в тугий пучок, чтобы подчеркнуть несколько монгольские черты лица, а тем более носить строгий костюм с пиджаком.

Бесспорно великолепное зрелище представляла собой и Женестьева Лантельм, когда в сопровождении южноамериканского миллионера Эдвардеса занимала место в театральной ложе. Сохранился набросок, сделанный Жаном Кокто: на Эдвардесе вместо привычного фрака и крахмальной манишки – рубаха из мягкого материала, а у его спутницы намалеваны рыбы губы, на голове копна кудрей, на шее почти что собачий ошейник из бриллиантов; сидит она не прямо, как заведено, а почти перегнувшись через перила так, что каскад жемчужных нитей свешивается вниз.



Женевьева Лантельм, 1910 год



Да, дамам полусвета было не занимать ни эксцентричности, ни фантазии. Они умели произвести впечатление, и притом с большим художественным вкусом. Некоторые появлялись в обществе исключительно в сопровождении чернокожего слуги или захватывали с собой животных диковинного вида. Одну потрепанную даму преклонных лет везде сопровождал низкорослый австралийский абориген. Актриса Полер отличалась тончайшей талией и невероятно уродливой внешностью: у нее был громадный рот, злые раскосые глаза, буйные кудри и челка на лбу. Она вернулась из Америки с чернокожим мальчишкой на поводке. На шее у слуги была табличка с надписью: «Моя хозяйка – Полер, просьба вернуть». В номере «Татлера» за 13 декабря 1911 года «г-жа Присцилла из Парижа» писала следующее:



«Одно из важнейших событий зимнего сезона – генеральная репетиция в «Фоли Бер-жер»; Полер произвела фурор, появившись в ложе с юношей лет шестнадцати от роду. Боже правый! Младенец, да и только. Лицо бледно-розовое, глаза цвета незабудки, соломенные волосы. На нем, верно, был его первый в жизни костюм, и он наверняка знал, что он «очаровашка». Понятно было, что у знаменитой артистки новая игрушка. Она возит его с собой повсюду. На днях одна замечательная английская дама, большая почитательница таланта мини-атюрной алжирки, пригласила ее отужинать в «Кафе де Пари». Полер приглашение приняла, но явилась с мальчиком. Надо полагать, она не расстанется с ним из художественных соображе-

ний, из тяги к контрасту: в том, как копна ярких белокурых волос выглядит на фоне смуглой Попо, есть что-то непревзойденно пикантное».

В Лондон шик парижских кокоток привезла прелестная Джина Палерм, которая украсила своим участием музыкальные комедии театра «Палас». В свете она блистала не меньше, чем на сцене. Она появлялась в шиншилловом манто до пят, для пущего эффекта прихватив пса породы салюки, позировала в бархатном шотландском берете и галифе на фоне богатого, изобилующего позолотой интерьера своей гостиной, располагавшейся в фешенебельном квартале Мейда-Вейл.



Джина Палерм



Когда-нибудь об этих женщинах, бесследно исчезнувших из нашего нынешнего общества, будет написан исторический труд. Если судить строго, общественной пользы в них не было никакой или почти никакой, но назвать их существование неоправданным нельзя: они не нуждались в оправдании, их мир существовал сам по себе. Слово «польза» мы сегодня употребляем в крайне узком, бытовом, значении. Вспомним, что еще в середине XIX века Шарль Бодлер признавал «свою решительную бесцельность» и разговоры про свою полезность воспринимал как тягчайшее оскорбление. Каким бы скандальным ни выглядело бы сегодня его утверждение, в нем в завуалированной форме говорилось о лживости морали. У природы мы не спрашиваем, что полезно: какая, например, практическая польза в цветах? При этом мы их сажаем, поливаем, растим, раскошеляясь на парники и клумбы. Люди, конечно, – создания несколько иного свойства, чем цветы, однако Бодлеру, возможно, хотелось бы обратного.

Что же до дам полусвета, то они одарили свою эпоху целым цветником яркой индивидуальности, выращенной в естественных условиях. Для общества они были как орхидеи. Сегодня вырастить их невозможно: нет более для этого условий, все ростки погибли. Но едва ли их гибель сделала нас хоть в чем-то богаче, и уж точно им не нашлось замены – столь же экзотической, столь же прекрасной.

Глава V

Ветер перемен



Аскот в трауре

По сравнению с шестьюдесятью годами правления королевы Виктории десять эдвардианских лет – как одна короткая свадебная вечеринка. Есть мнение, что бывают эпохи упадка и эпохи подъема; похоже, что мы, со свойственными нам ностальгическими настроениями, воспринимаем перемены как признак упадка. Престиж короля Эдуарда был так велик, что смерть его в 1910 году показалась началом раскола западноевропейской цивилизации и общества, который неминуемо произойдет в ближайшие три-четыре десятилетия. Того, что уже спустя четыре года разразится мировая война, предвидеть, естественно, никто не мог.

Для Англии, скорбевшей по ушедшему монарху, знаковым мероприятием стал так называемый Аскот в черном. С началом сезона в год траура представители высшего света появились на трибунах аскотского ипподрома с ног до головы в черном: мужчины облачились в черные пиджаки, повязали черные галстуки, нахлобучили черные шляпы и носили черные зонты в руках, затянутых в черные перчатки.

В черных траурных нарядах дамы стали похожи на больших ворон или, может быть, райских птиц, собравшихся на готический карнавал. Черные платья с черной оторочкой, черные кружевные зонтики и огромные, не чета прежним, черные шляпы наводняли местность до горизонта, насколько хватало глаз. Известно, что мода, перед тем как безвозвратно уйти, устраивает какой-нибудь каприз; вот и теперь, прежде чем сгинуть под топором палача, она сотворила причудливые головные уборы. Все эти непомерные шляпы, часто сдвинутые набок и украшенные перьями черного страуса в сочетании с перьями цапли, райской птицы и черной вуалью, служили знаком траура не столько по королю, сколько по ушедшим славным временам.



Аскот в трауре



Слава, впрочем, никуда не делась. В переходный период от эдвардианских сигар к сигаретам в обществе и на театральной сцене появились свои звезды, и далеко не самой тусклой была забываемая Лина Кавальери.

Говорили, что во всем мире нет женщины красивее Лины. Ее можно считать современной Габи Делис, но только хронологически: трудно найти двух менее похожих дам.

Кавальери блистала не в мюзик-холле, но в опере, и даже если имела отношение к полусвету, то резко отличалась от его типичных представительниц. Критики в один голос заявляли, что голос ее не дотягивает до уровня Луизы Тетрацини или Джеральдины Фаррар, да и телосложением она была хрупка и невелика ростом, так что в роли богини смотрелась бы неубедительно. При всем том она была наделена неподдельной классической красотой: тонкая шея, скуластое лицо, римский профиль, которому идеально шли черные локоны, зачесанные на пробор как у испанской танцовщицы и собранные на затылке.

Уже в юные годы у Кавальери проявились жесты, осанка и грация женщины в расцвете лет. До Первой мировой войны у дам было не принято молодиться: напротив, идеалом

женской привлекательности признавалась зрелость. Во всем существе певицы как будто чувствовался многолетний груз пережитого; этот образ тоскующей Коломбины особенно подчеркивали большие печальные глаза и чуть приподнятые брови, выражавшие отнюдь не удивление, а потаенную грусть. Печальны – правда, с оттенком чувственности, – были и ее губы. В целом же она напоминала портрет работы Мурильо.

Газеты периодически рассказывали о ее появлениях в полусвете, причем рядом с дамами с куда более сомнительной и даже сильно запятнанной репутацией. Она походила на Афину Палладу, которая время от времени снисходит до общения с гетерами. Кавальери была невероятно женственна и при этом походила на царицу или герцогиню, бесстрастную, как мраморная статуя. Спину ее до самой шеи словно держал идеально ровный стержень. Неизвестно, кто научил ее этой грации, главное, что благодаря такой осанке в каждом ее движении ощущались власть и величие. Она подчеркивала свою итальянскую яркость и умела быть непохожей на других – южная валькирия, изящная и миниатюрная. При разговоре она живо и изящно жестикулировала, что запечатлено на многочисленных снимках. Вот она правой рукой элегантно тербит длинную жемчужную нить. Или воздела руки над головой и сцепила в замок: у нее этот жест, известный нам по картинам, изображающим одалисок, совсем не кажется вульгарным, Кавальери его будто переосмыслила. Еще есть фотографии, где она, затейливо выгнув руку, касается кончиками пальцев темени, другую руку держа на поясе.



Лина Кавальери

Дебют Кавальери в Нью-Йоркской опере состоялся почти в одно время с появлением Габриеллы Деллис. Тогда же Лина вышла замуж за состоятельного американца, но вскоре с ним разошлась. Во время войны она вернулась в Италию, на родную фабрику, где когда-то была черно-рабочей. С окончанием войны она снова уехала в Америку вместе со вторым мужем Люсьеном Мураторе, французским тенором. Они вместе гастролеровали по Штатам, Кавальери начала сниматься в немых фильмах.

В начале 30-х итальянская дива (чья жизнь вдохновила режиссера Эдварда Шелдона на создание фильма «Роман») зачастила на Вашингтон-сквер и вращалась в тамошних кругах. Там на одной вечеринке я ее и заметил. Она была уже далеко не в самом расцвете, но какой

фурор производили ее смугловатый цвет лица и шелковистые черные волосы! Прямая осанка осталась прежней, как и гордая посадка головы. Она была в платье из черного бархата с глубоким вырезом без украшений, точь-в-точь как на портрете мадам Икс кисти Джона Сарджента. После той вечеринки я о госпоже Кавальери очень долго ничего не слышал. Человеческая трагедия разворачивается во времени: какая огромная пропасть между великолепием Нью-Йорка 1913 года, рукоплескавшего блистательной певице, и разрушенной Флоренцией 1944 года, где во время бомбардировки погибла Кавальери!

Имя Лины Кавальери неразрывно связано с именем другой особы – леди Дианы Мэннерс – и аристократического клуба «Соулз» – «Души». На исходе эдвардианской эпохи в Лондоне возникло что-то вроде кружка любящих пофилософствовать аристократов, политиков и богемы: это сообщество не без иронии и именовалось «Души». Их объединяла любовь к литературе и утонченность вкусов, не чуждо им было и творчество. В кружок среди прочих входили леди Дезборо, леди Рибблздейл, леди Излингтон, леди Литтон, лорд Бальфур, Гарри Каст и Эван Чартерис. Да-да, были там души и мужского пола. Впрочем, самой мятущейся среди них была душа герцогини Оксфорд и Асквит, одной из «учредительниц». Много лет спустя она вспоминала: «Мне хватало моей врожденной предприимчивости, интуиции и наблюдательности, чтобы даже среди молодежи моментально и безошибочно выделить кандидатов в клуб; кроме того, среди «душ» (так называли меня и моих подруг) не было людей, которые не пользовались бы мировой известностью... Сегодня подобных кружков просто нет: у нас дома лицом к лицу встречались и вели споры непримиримые политические противники, притом что в других жизненных обстоятельствах их пути не пересекались. В том и состояла особенность нашего сообщества, которая его прославила».

Политика – далеко не главное, что занимало «Души». Так, произвела фурор и быстро распространилась введенная ими мода прикалывать к платью стеклянной брошью лавровый листок. Вообще, вкус у них был рафинированно прерафаэлитский, в духе первых выпусков журнала «Yellow book» – «Желтая книга». Буйству красок Россетти был дан решительный отпор: предпочтительнее были тона бледно-серые или серо-зеленые, как в детских книжках Кейт Гринуэй. Свои дома «души» украшали скромным моррисовским коленкором, а место комнатных цветов с успехом занимали листья: в комнате на каминной полке мог стоять единственный стакан, в котором, как в пробирке, хранилась веточка жасмина, а в прочих вазах, разбросанных по комнатам с блеклыми стенами, – стебельки розмарина и тмина, побеги магнолии. Обитательницы этих домов предпочитали длинные плиссированные платья.



Миссис Обри Херберт в роли невесты.

Члены клуба «Соулз» непременно прикалывали брошью пару листьев лавра

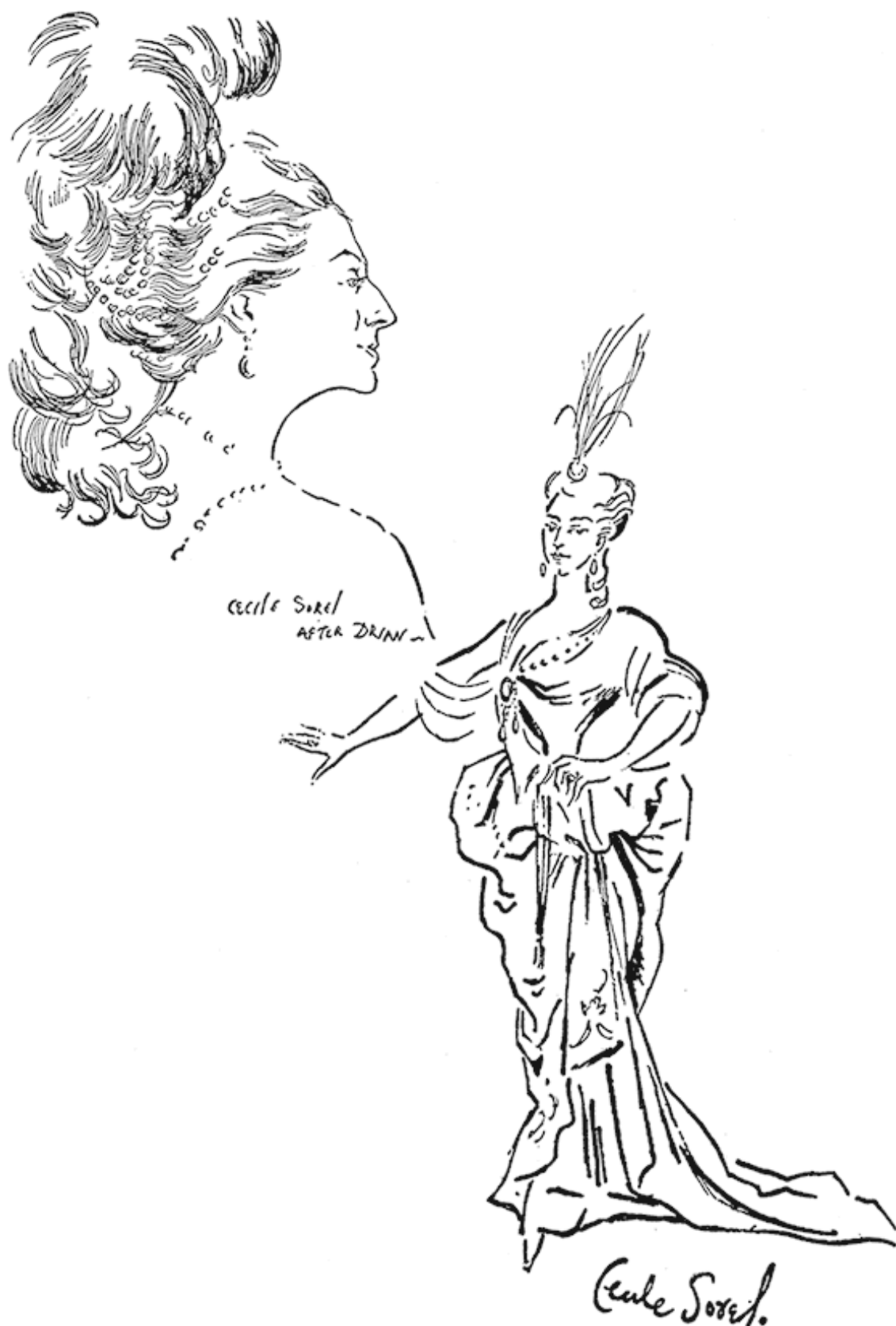
Непременной участницей сборища была Вайолет Мэннерс, герцогиня Ратленд, славившаяся своей красотой. Она носила волосы на греческий манер – спереди челка, сзади шиньон – и была равнодушна к бежевым платьям с длинным треном, к которым обыкновенно надевала кружевной чепец с завязками. У Вайолет было три дочери, которых одевали всегда странно и в целом воспитывали в соответствии с высокохудожественным вкусом матери.

Младшая и самая очаровательная из них, леди Диана Мэннерс, была очень светловолосой. Вместо обычного муслинового платья, какие носили ее сверстницы, мать одевала девочку в черный бархат. Когда пришла пора юной Диане выйти в свет, она предстала перед публикой не в обычном для девушек ее круга бело-розовом платье, а по настоянию матери облачилась во все светло- и темно-серое, тем самым подчеркнув удивительный переливчатый, только ей свойственный цвет лица. На скачках в Аскоте леди Диана Мэннерс, в отличие от сверстниц в соломенных шляпках с лентами или розочками, появлялась в огромной нарядной шляпе, украшенной колосками черной пшеницы либо серым кружевом. В то время были популярны исторические инсценировки, в которых, забавы ради и в целях сбора средств, участвовали важные особы. Такие маскарады леди Диана любила посещать в совершенно непредсказуемых нарядах: так, если образ английской королевы или любовницы короля Людовика пришелся ей не по нраву, она могла уговорить подружек вместе изобразить лебедей, причем мать, не предупредив остальную стаю, выбрала для дочери роль черного лебедя.



Дети герцогини Ратленд воспитывались приблизительно одинаково. Одно из наставлений звучало так: «Если хотите держаться самым достойным и изысканным образом, хотите обладать красотой и истинно женской грацией, вам лучше всего внимательно присмотреться к Лине Кавальери, к ее самым мелким движениям и жестам».

Пожалуй, этому совету прилежнее всех последовала сестра леди Дианы, черноволосая Марджори, ставшая верной ученицей Кавальери. Сегодня уж и ее дочери, внучки старухи герцогини, повыходили замуж и обзавелись собственными детьми. Не знаю, понятно ли им, но их фирменные причуды – все эти вскинутые брови, прогнутые спины, заломленные руки, игра ожерельем – так или иначе заимствованы у Лины. Поэтому Кавальери не умерла, ведь возникла целая школа имени этой женщины. Ее жизнь – прямое подтверждение тому, что даже особа незнатного происхождения может быть утонченной и аристократичной по своей природе, что даже мудрая пожилая герцогиня, наделенная чувством прекрасного, не найдет для своих детей лучшего примера, чем работница с табачной фабрики, знавшаяся с куртизанками. Словом, история, достойная пера Карен Бликсен.

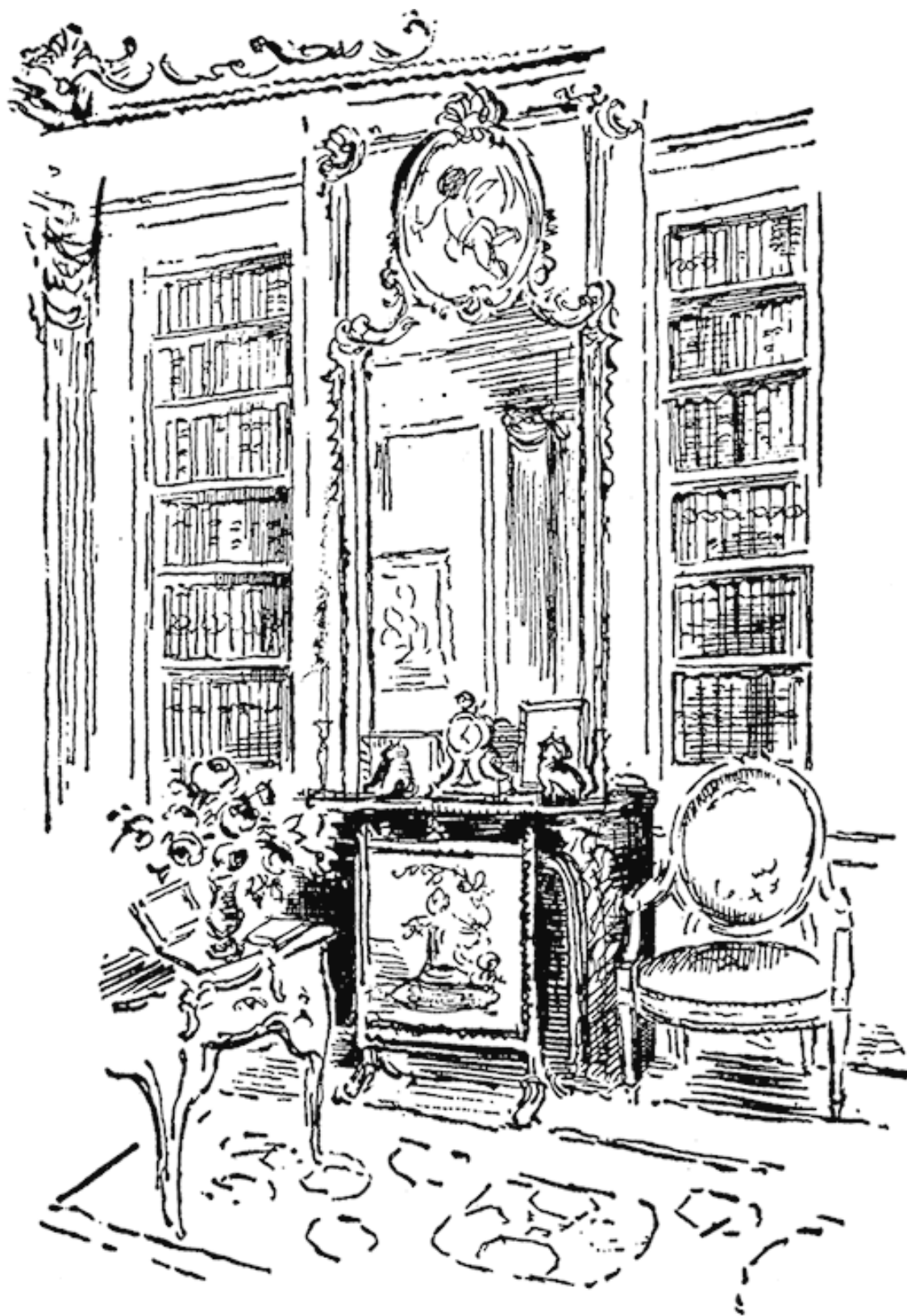


Из звезд, блиставших на сцене еще до Первой мировой войны, самой живой и яркой была Сесиль Сорель. Она обладала редким сочетанием качеств – сценического таланта и тончайшего вкуса в обыденной жизни. В юности ее фотографировала сестра, супруга небезызвестного Леопольда Эмиля Рейтлингера, фотомастера; на снимках Сесиль предстает закутанной в шелка

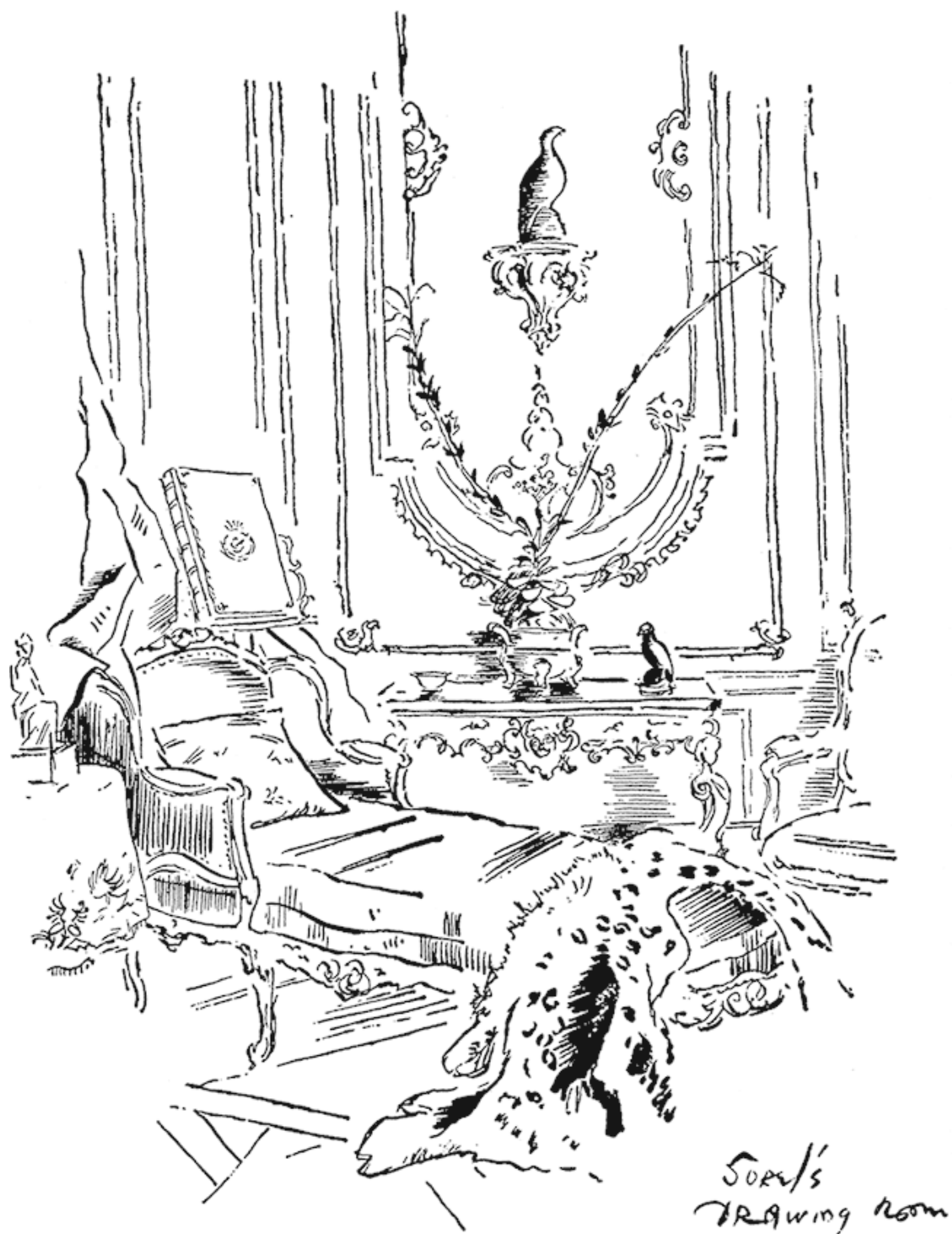
и меха, в совершенно исполинских головных уборах. Она подбирала предметы гардероба в духе французского неоклассицизма, ее стиль жизни отличался своеобразием. Располагая немалым состоянием, актриса по совету маркиза Бони де Кастеллана и архитектора Уитни Уоррена превратила свои величественных пропорций апартаменты на набережной Вольтера в дворец удивительной красоты и роскоши. Она питала слабость к леопардовым шкурам и охотно это демонстрировала. Леопардовый узор она, вероятнее всего, полюбила благодаря картинам Лар-жильера и Натъе, но не это удивительно: главное, что это ее пристрастие повлияло на моду следующей половины века.

Стояла у нее в доме и довольно редкая мебель, например изысканный шезлонг, формой напоминавший гондолу. Он был обит потрясающей красоты старинным зеленовато-синим бархатом. К нему прилагались столь же прекрасные стулья работы мебельщика Крессана. Интерьер украшали бледно-голубые и золотые резные панели. Против удивительно красивой китайской ширмы она поставила два кресла с алой обивкой.

Место в спальне на подиуме под балдахином занимала необъятная, в стиле Людовика XVI, кровать. В книжных шкафах с изысканными бронзовыми накладками в виде китайских драконов и бирюзового феникса – книги в великолепных тисненых переплетах. Благодаря тончайшему вкусу хозяйки все было идеально подобрано. Имелась у Сорель и «малая гостиная», в которой сегодня не побрезговал бы поселиться какой-нибудь интеллигентный богач. Но, пожалуй, понятию о роскоши точнее всего соответствовала обеденная зала: пол, мощный белыми и густо-красными квадратными мраморными плитами, был устлан леопардом. На светло-бежевых стенах также отделанных мрамором, красовались резные каменные медальоны. Мраморный обеденный стол как две капли воды походил на обеденный стол в Версале. На него стелили золототканую скатерть. В день званого обеда стол украшали гирлянды из алых маков и красных гвоздик, подвешенные на высокие подставки, декорированные красным виноградом.



Уголок в спальне Сорель



SOREL'S
DRAWING ROOM



Уголок в гостиной Сорель

Уже в начале века жилище Сорель запечатлели на цветную пленку. Глядя на сохранившуюся журнальную иллюстрацию, даешься диву, как мало здесь вещей дешевых и бессмысленных: ни аляповатых подушечек, ни папоротников или пальм – взгляд не утомляется. Перед нами пример тонкого вкуса, причем очень индивидуального. При этом сегодня довольно трудно сказать, сколько здесь собственных, оригинальных идей хозяйки: с тех пор слишком многие ей подражали.

Упомяну и еще одну даму эдвардианской эпохи, которая не имела отношения к миру моды, но была элегантнее многих своих легендарных современниц, – американку Консуэло Вандербильт, прелестную наследницу несметного состояния, ставшую впоследствии герцогиней Мальборо, а затем мадам Бальсан.

Она отличалась исключительной стройностью и статью, высокая, с осиной талией, при всем при этом она никогда, даже в юности, не производила впечатления хрупкой особы: спина – стержень, лицо – камень – ни дать ни взять богиня крито-микенского периода. Обладательница невыразительной, но подтянутой фигуры и церемонных манер, она посвятила жизнь тому, чтобы сделать свой силуэт более легким, воздушным.



Консуэло, герцогиня Мальборо, в некотором роде кумир

С тех пор как Консуэло Вандербилт надела на коронацию короля Эдуарда знаменитый бриллиантовый корсаж, который несказанно украсил изначально убогое платье пэрессы, мода изменилась: примерив канотье, большие нарядные шляпы, чепчики и колокольчики, наша героиня в итоге сделалась седой дамой в ранневикторианской фетровой шляпке, украшенной пармскими фиалками, но не утратила своего природного жеманства. Миниатюрное личико, правильное, будто цветок примулы, улыбка, чуть прикушенная губа, вздернутый, с выразительными ноздрями носик успели запечатлеть Поль Эллё, Джон Сарджент (автор великолепного семейного портрета, украсившего Бленхеймский дворец), а также многие другие художники того времени, но лучше всех ее черты сумел схватить главный знаток моды и ценитель женской красоты – великий Больдини.

Кисть этого мастера, коснувшись полотна, наполняла его редкой живостью и силой. Больдини несколькими уверенными штрихами умел создать ослепительный блеск, присущий героине его портрета в моменты наивысшего ее триумфа. Этот миниатюрный итальянец создал серию полотен, с которых смотрят герцогини и кокетки, стоящие на сверкающем паркетном полу, изогнувшись в немыслимых позах, так что остается только гадать, как они умудряются сохранять равновесие на высоченных каблуках. Но рядом художник предусмотрительно изображает, например, светло-коричневое кресло с круглой спинкой, в которое героиня, не удержав сложнейшей акробатической позы, может приземлиться. Больдини помещает своих героинь в крайне неестественную для их времени обстановку. Они напоминают птиц, готовых взлететь, художник словно подвешивает их в невидимом шелковом гамаке, где они балансируют с огромным трудом. Эгретки, тюлевые шарфики, причудливые локоны, затканые серебром трены, отведенные в стороны руки – все кружится в вихре сочных мазков.

У Больдини чувство стиля куда острее, чем у американца Сарджента. У последнего наряды героинь невыразительные, он выбирал их с тем расчетом, чтобы они не устарели (и, надо сказать, прогадал), у итальянца же женщины одеты точно по моде своего времени: так, на светской львице Рите Лидиг – боа и платье от Калло, и на другой даме однозначно угадывается наряд от мадам Шерюи. Больдини на своих полотнах умел сосредоточить все лучшие творения мастеров с рю де ла Пэ и Вандомской площади. С течением лет он начал творчески выдыхаться, переключился на большие полотна, и в конце концов его произведения подернулись тем налетом вульгарности, который так охотно переняли Кеес ван Донген и Жан Габриэль Домерг.



В манере Больдини



Набросок с портрета герцогини Грациоли кисти Больдини

Ранние миниатюрные эскизы Больдини – чаепитие в саду, устроенное дамами в кружевных платьях, кулуары показа мод, зашторенная от дневного солнца гостиная – написаны с большим чувством и изысканностью. Сегодня их художественную ценность и мастерство автора явно недооценивают. Но даже в поздних – поверхностных и кричащих – работах художнику удается передать зрителю свою искреннюю радость от изображенной им чепухи. Даже от самых пошлых его творений мы не в силах оторваться.

Если говорить о безвестно канувших призраках прошлого, героях позавчерашних дней, то на ум приходит имя барона де Мейера. Сегодня о нем почти не помнят, а между тем его лучшие работы то и дело появлялись на страницах «Vogue», чем обеспечили журналу успех. По происхождению немец, барон де Мейер проживал в Лондоне со своей женой, блистательной и модной светской дамой. Судьба де Мейера схожа с судьбой шотландца Октавиуса Хилла: тот, будучи изначально посредственным художником, сумел стать великим фотографом. У барона, стремившегося уйти от реальности, имелись собственные представления об изысканности и элегантности, коих он и старался по мере сил придерживаться. Ему удалось расширить возможности фотокамеры и создать подлинно импрессионистские портреты своих современниц. Поразительное мастерство, проявлявшееся каждый раз по-разному, позволяло раскрыть в портретах скрытую утонченность героинь, отразить их душу. Творческий гений одерживал победу над бездушностью аппарата. При помощи всяких хитростей он добивался нужной тонкости деталей, а на дефекты, считавшиеся недопустимыми, просто закрывал глаза. Дамы в серебряной парче и тиаарах были для него податливым материалом, свет на его снимках напоминал блики на воде, как на картинах Уистлера, или солнечные пятна среди густой листвы. Подобно многим истинным художникам, де Мейер передавал ощущение от образа и никогда не доводил работу до полного завершения, наоборот, не боялся оставить ее незаконченной.

Барон де Мейер со своей шикарно одетой женой жил в богатом доме, устраивал пышные празднества и тянулся к роскоши, он первым из фотографов сумел уловить суть светской жизни. Он был большим снобом: если его приглашали фотографировать ту или иную даму, это автоматически означало, что статус ее в обществе вырос. Безошибочно угадывается авторский почерк де Мейера: если в кадр попала безделушка на столе, то эта безделушка должна представлять высокую художественную ценность, как, впрочем, и стол, на котором она стоит. Он был едва ли не первым в мире фоторедактором – утверждал наряд своей модели, мог подправить линию рукава или бант, чтобы кадр получился удачным. Барон был новатором фотографии, и пускай даже профессионалам его имя не очень известно, многими приемами современной студийной фотосъемки и даже синематографа мы обязаны именно ему.

Я страстно мечтал встретиться с тем, чьи работы оставили в моем творчестве неизгладимый след. Я хотел узнать ближе, разгадать человека, которого боги наделили несомненным художественным даром. Увы, последнее мне не удалось. К моему скромному дому в Уилтшире, в расселине между холмами, де Мейер скатился по крутому склону на огромном гоночном кабриолете небесно-голубого цвета, разметав по дороге гравий и известковые комья и вспугнув кроликов. За рулем сидел шофер в ливрее под цвет машины, пассажиром, высокий человек без возраста, с крашеными волосами, также был облачен в голубой костюм и берет. Моих гостей, людей в общем-то простых, его неожиданный приезд удивил; должен признать, меня и самого несколько смутили странные манеры гостя. Боюсь, что бедняге не удалось произвести тот эффект, на который он рассчитывал. Наверное, его приняли недостаточно дружелюбно, он запаниковал и стал вести себя неестественно, фальшиво: во время беседы вскидывал брови, словно плохой комедиант, разговаривал пронзительным фальцетом, глотая

звуки. Он подбирал слова одно неудачнее другого, постоянно нервно хихикал. Я был обескуражен: все шло совсем не так, как я рассчитывал и представлял. Чтобы как-то спасти положение, я решил публично представить моего давнего кумира, умевшего вдохнуть в фотографии волшебство, секрет которого я мечтал разгадать. Но произнося заученный монолог, я заметил, что на лице моего гостя застыла обиженная гримаса. Я его явно раздосадовал. Вероятно, моя непростительная ошибка состояла в том, что я завел разговор о фотографии – с тем же успехом я мог поинтересоваться, какой фиксаж он применяет для своих работ.



Если бы мне довелось встретиться с этим странным человеком снова, я, вероятно, нашел бы с ним общий язык, разузнал секреты его художественного видения. Но очень скоро небесного цвета мотоцикл уже несла свой лазурный экипаж назад к вершине холма, увозя с собой нераскрытую тайну, к разгадке которой за много лет мы так и не приблизились.

Ранние снимки де Мейера, созданные начиная с 1900 года, стоит выделить отдельно. Они трогают душу не меньше, чем импрессионистские полотна Берты Моризо: трудно найти образ бесхитростнее и проще, чем замершая в ожидании мадам Эррасурис в платье из черной тафты и увенчанной эгреткой шляпке. Женщина почти отвернулась от зрителя, при этом мы не в общих чертах, но совершенно точно понимаем характер героини, ощущаем масштаб ее личности, воспринимаем окружающую ее атмосферу.

Так рассказать о ней не смог бы даже писатель. Графиню де Грей, впоследствии маркизу Рипон, я воспринимаю только на фото, сделанном бароном, где она запечатлена в наряде из серебряной парчи, с тиарой на голове. Только этот снимок подчеркивает все то, что известно об этой величайшей личности и меценатке, увидеть которую мне, увы, не довелось, но которая ассоциируется у меня с удивительным изяществом, щедростью и забытым ныне очарованием. То же касается портретов легендарного Нижинского – он на них ровно такой, каким его описывали восторженные поклонники: летящий, невесомый, живой. Ведь застывшая в жеманной позе гряда мышц, которую запечатлел Александр Бассано, никак не соотносится с воспоминаниями современников о великом танцоре. Де Мейер же со свойственным ему легкомыслием, новаторским духом и озорством снимал Нижинского на сцене – в «Призраке Розы», «Послеполуденном отдыхе фавна», в «Шехеразаде» в роли раба или же принца в «Павильоне Армиды», и все это в течение одного дня. В итоге за необычным обликом артиста мир разглядел фантастическую гибкость тела, юношеский пыл, поэзию и бурление чувств. Таким Вацлав Нижинский и вошел в мировую историю.

С годами живописец блестящей эпохи барон де Мейер пришел в фотоискусстве к тому же, к чему Больдини пришел в живописи: к гротескному пафосу – но даже тогда он умел передать восхищение и радость, которое дарили ему прелестные картинки, запечатленные на его снимках. Он часто снимает модель сидящей в грациозной позе: рука на бедре, голова гордо вскинута и повернута в полупрофиль, как на античном барельефе; серебряное кружево, ткани, жемчуга и ракушки непременно сияют, луч солнца играет на девственно чистом лепестке белой лилии, отражается в паркетном полу, играет в зеркальных панелях дверей, фейерверками пляшет в замысловатых хрусталиках люстры – всем этим мельчайшим деталям первый и непревзойденный фотограф моды даровал жизнь вне времени.





Каждый модный дом работал в своей уникальной манере



Итак, барон де Мейер, Больдини и его дамы, Сесиль Сорель, Лина Кавальери и «Души» – все они так или иначе оставили свой след в изменчивом мире моды. Пожалуй, самым странным образом повел себя барометр женского стиля накануне и во время Первой мировой войны. В той войне Париж оставался свободным городом, а потому модная жизнь здесь продолжала бурлить и кипеть.

В период с 1914 по 1918 год погибло 10 миллионов мужчин, однако тогда война (в отличие от того, что мы видим сейчас) оставалась исключительно «уделом джентльменов». Не было точечных бомбежек и массированных налетов на мирные города, не было длительной оккупации. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в некоторых своих аспектах парижская жизнь, если не считать некоторых поправок на военное время, никак не изменилась. В преддверии мировой катастрофы мода вдруг стала настолько пестрой и изменчивой, что следовать ей во всем и всегда было уже невозможно. Фижмы и другие причуды из эпохи Директории и ампира соседствовали с викторианскими турнюрами. Дама считалась тем элегантнее, чем больше стилей сочетал в себе ее наряд. Каждый модный дом работал в своей уникальной манере: так, Пакен отличалась от Лаферьер, Дусе был совсем не то, что Венсан-Лашартруай, Ребу или Камиль Роже. Ворт не имел ничего общего с Редферном. Преме вернулся к мотивам 80-х годов XIX века. Бир предпочитал рококо, а Дойе тяготел к фасонам времен второго ампира. Пол-Парижа было затянуто в тугие викторианские лифы, другая же половина носила бесформенные туники до колен. В то время мотивы моды звучали нестройно, вразнобой.

Не секрет, что изменения в моде были так или иначе связаны с расколом в обществе: они отражали социальные перемены, словно тени на стене в притче Платона. Суфражистки принимались отстаивать права женщин, которые в то время, как назло, выглядели женственно, как никогда; что касается морали и правил этикета, то их встряхнули и перемешали, как придуманные как раз в те годы коктейли. Автомобили стали больше и мощнее, поезда – длиннее и быстрее, развивалась авиация, жизнь закружилась в буйном вихре. Вошли в моду танцы, устраивались светские танцевальные вечера, куда ходили вопреки всяким приличиям, ради флирта. Объявились дамские угодники и кокетки, жаждущие мужского внимания. Это были замужние дамы без спутников и деловые люди, норовившие сбежать из конторы на час пораньше и потанцевать завезенное контрабандой из Аргентины танго, или матчиш, бани-хаг, гэби-глайд и касл-уок: создатели последнего, танцоры Вернон и Айрин Касл, были тогда в зените славы.

Госпожу Касл свет признал и встретил ликованием, которого достоин лишь тот, кто, по словам Вордсворта, способствовал скорейшему развитию нашего вкуса. Своим появлением она внесла новизну в женский наряд. В то же время ее новаторство публика принимала так охотно по одной причине: мы принимаем «новое», если уже питаем к нему скрытую страсть, и тоскуем по нему, и бессознательно готовим себя к его приходу. Нет ничего удивительного в том, что в период раннего Стравинского и увлечения Пикассо кубизмом в мире моды возшла и эта ярчайшая звезда. Если Стравинский и Пикассо воплощали современность в музыке и живописи, то Айрин Касл воплощала ее в моде и светской жизни. Несомненно, балет «Весна священная» ложился на слух не всем, как и «Авиньонские девицы» кое-кому резали глаз, но по прошествии лет те же самые уши и глаза открылись и приняли прежде решительно отвергнутые творения. Что касается Айрин Касл, то такого временного интервала не понадобилось, возможно потому, что модницы более восприимчивы к новому, нежели ценители искусства.



Барометр женской моды колебался самым странным образом



Суфражистки принимались отстаивать права женщин

Весной 1911 года, когда Англия готовилась к коронации Георга V, в Нью-Йорке были анонсированы премьеры оперетт Виктора Герберта, «Шоколадного солдата» Оскара Штрауса, «Розовой дамы» Ивана Карилла с очаровательной Хейзел Доун в главной роли. На подходе был Ирвинг Берлин со шлягером «Александр регтайм бэнд». Если до сих пор танцевали традиционный вальс, бостон, тустеп, то теперь «самым пискom» были танго и уанстеп; воплощением пришедшего в танец нового современного стиля стали супруги Касл.

Молодые влюбленные Вернон Касл и Айрин Фут на какое-то время решили сойти с американской сцены, и тому была официальная причина: спектакль нью-йоркского театра, в котором они участвовали, закрылся. Танцоры не видели почти никаких перспектив; Вернон Касл подумывал об участии в парижском ревю, хотя и плохо себе представлял, как это будет. И в итоге, сам того не осознавая, принял мудрое решение.

Пара отправилась на пароходе в Париж, где супругов по-прежнему преследовали злоключения. Устроившись в сомнительном гостевом доме на левом берегу Сены, экономя каждую монету, будущие супруги тщетно ждали, когда их позовут в театр. Вместо этого их пригласили танцевать в Кафе-де-Пари. На афише в фойе красовались их фотографии и подпись: «Tous les soirs, au souper, Vernon and Irene Castle, dans leur danses sensationnelles»³. Эти самые «danses sensationnelles»⁴ предполагалось исполнять в специальных сценических костюмах; вероятно, пара должна была показывать новомодные джазовые движения. Как раз тогда Вернон и Айрин обручились, а на следующий день после помолвки хозяин кафе сделал широкий жест и пригласил их отобедать. Они сидели, испуганно глаза на разодетых посетителей, пока их внезапно не окликнул русский граф, расположившийся за соседним столиком и узнавший их по фотографии. Граф настойчиво просил станцевать для него здесь и сейчас; супруги и не заметили, как поднялись на сцену прямо из гущи нарядной публики, одетые вопреки уговору с хозяином в то, в чем пришли: Айрин, в частности, была в свадебном платье со шлейфом и голландском чепце, который впоследствии стали носить дамы по всему миру. Такой наряд, надо полагать, несколько сдержал их пыл, не дал продемонстрировать акробатические па. В итоге – бешеный успех.

С того момента предложения и приглашения посыпались на них буквально градом. Каслы теперь выходили на сцену исключительно из зала и только в бальных нарядах. По возвращении в Америку их встретили как мировых звезд. Вскоре они обзавелись собственным рестораном для танцевальных вечеринок и танцклассом на Восточной 46-й улице в Нью-Йорке. Отсюда, из Касл-Хауса, они как король и королева правили миром современного танца.

Теперь они выступали в новом ночном клубе на крыше театра, в названии которого – «Castles in the Air» («Воздушные замки») – удачно обыгрывалась их фамилия. Их взяли в мюзикл «Смотрите, не споткнитесь!», где они стали получать шесть тысяч долларов в неделю. Из скромной парижской квартиры они переехали в особняк в районе Манхассета. Вернон начал играть в поло и завел гончих.

³ Весь вечер во время ужина Вернон и Айрин Касл исполняют зажигательные танцы (фр.).

⁴ Зажигательные танцы (фр.).



Мир заболел танцами. Один за другим возникали стили: в 1915 году пришел фокстрот, в итоге переживший все остальные. Многие рестораны, пытаясь конкурировать с Каслами,

собирали свои танцевальные труппы; самыми серьезными соперниками были Морис и Флоренс Уолтон, а несколько позднее – Мэй Мюррей и Клифтон Уэбб. К легендарному Рудольфу Валентино известность пришла после победы на танцевальном конкурсе. Новые танцы вызывали волну критики: говорили, что таким образом поощряется развязное поведение. Однако манеры изменились, эти изменения закрепились, и люди продолжали самозабвенно танцевать под руководством вечно юных и безмерно талантливых Вернона и Айрин, энергичных и живых. Танец заставлял пускаться в пляс даже пожилых. Подумать только, ведь сегодня к престарелой паре на танцплощадке мы отнесемся более чем либерально; в этом есть безусловная заслуга Вернона и Айрин. Притом что невеста Касла была одета не так, как подобает танцорам, людям ее наряд понравился, и они принялись во всем ей подражать. Главное – от нее веяло юностью, почти мальчишеством, и одновременно она демонстрировала удивительную грациозность. Она была естественной, настоящей, чистой, одновременно тонкой и упругой как жгут, под кожей у нее угадывались мощные мускулы, а движения были отточены. Руки порхали изящно и смело, как у обычного человека при эмоциональном разговоре: эти жесты имели мало общего со сдержанными движениями вышколенного танцора. Раскрытые ладони Айрин решительно, по-мужски резали воздух, руки взмывали вверх и смыкались, образуя упругую дугу. В дополнение к энергичным и живым жестам у нее был длинный, стремительный шаг. Именно Айрин Касл научила женщин походке и равновесию: таз вперед, корпус чуть назад так, чтобы торс приобрел утонченные очертания античной скульптуры. Из этого следовало также, что, когда она стоит неподвижно, одна нога для сохранения равновесия должна быть выставлена вперед. Так, задав ось, она могла легко совершить поворот в любой плоскости, при этом перед вращением слегка приподнимала плечико, и это стало ее фирменным приемом, предметом восхищения и тупого подражания для многих женщин. Чтобы совершить подобное, следовало обладать идеальным чувством равновесия и интуитивным знанием физических законов: она двигалась так, будто внутри нее был спрятан гироскоп, выравнивавший туловища вне зависимости от угла наклона.

Мальчишеские черты Айрин уравновешивались прелестной женственностью, притом что ни к каким из обычных дамских ухищрений она не прибегала. Кожа у нее была как у мальчишки, темноватая и тусклая, темно-русые волосы имели неопиcуемый мышиный оттенок, чертами чуть одутловатого лица она напоминала мартышку. У нее был острый подбородок, высокие скулы, невероятно длинные, широкие у переносицы и сходящие на нет к вискам брови. Да, до классического идеала красоты Айрин Касл было далеко, при этом все эти черты вместе производили приятное впечатление. Она представила публике тот тип женщин, который сегодня встречается нередко и повсеместно. До ее появления такие высокие скулы или слегка выпяченные, почти по-обезьяньи надутые губы женщина непременно стала бы скрывать. Считалось, что глаза у женщины должны быть большими, египетскими, и этот стереотип Айрин тоже разрушила. Природа наградила ее маленькими, но невероятно лучистыми глазками: уголки верхних век были печально, сочувственно опущены вниз, нижние же, наоборот, устремлялись уголками вверх и как будто смеялись – странное сочетание грусти и веселья. Как это часто бывает в живописи, подлинное очарование далеко не всегда скрыто в симметрии, настоящая красота часто неправильна. Свой великолепный чарующий образ она создала из даров природы, которые любая другая женщина того времени сочла бы скудными подачками.

По характеру Айрин была законодательницей мод: однажды она постриглась коротко, и все стали тут же требовать у парикмахеров сделать им каре «как у Касл». Одевалась она своеобразно, придавая любому веянию моды нужное ей направление, часто весьма необычное.

Как символ и олицетворение эпохи Айрин вспоминают немногие, но все же она внесла в тогдашние модные течения много нового, и прежде всего – во внешний вид: она нашла золотую середину между мальчишеской простотой и женственностью, положив конец роман-

тическим золотым завитушкам Мэри Пикфорд; она полностью соответствовала новомодному представлению о том, что женщина создана для самой себя.

Сценический наряд Айрин не отличался театральной пышностью, а потому она легко заимствовала все модные веяния того времени, в которых преобладали очень женственные мотивы. Создавалось впечатление, будто из посетителей ресторана или ночного клуба выбрали самую элегантную гостью и просто попросили показать, что она умеет.

В любой чужой стране она могла легко приспособить для собственных целей национальный наряд, могла примерить мальчиковую кепку, жокейскую куртку, бывало даже, что на торжественный ужин она надевала костюм в мелкую клетку или полосатый фрак. Однако, даже несмотря на короткую стрижку, выглядела она во всем этом мужском облачении невероятно женственно, а если ей доводилось надеть мужской цилиндр, то из-под него точно посередине лба непременно выбивался длинный завиток.

Ткани она предпочитала в основном мягкие, струящиеся. Ее платья от Люсиль, конечно, отличались изысканностью, но также и очень простым кроем, и в отделке они не нуждались: миссис Касл своими точеными формами напоминала статуэтку, к которой не требовалось прилаживать ничего лишнего.

В результате стараниями миссис Касл идея женственности, поначалу весьма неопределенная, обрела четкие очертания. Айрин оказалась зеркалом эпохи, отразившим настроения в обществе, связанные с провозглашением женской эмансипации. Благодаря своему положению она сформировалась как волевая натура и сделала первый шаг к будущему ножкой в башмачке с пряжкой по скользкому паркету – шаг уверенный, твердый, на какой способен лишь такой отважный, открытый и честный человек.

Айрин Касл была в каком-то смысле художницей: она ни за что не позволила бы себе появиться на людях растрепанной, она непременно причесывалась, пусть даже всего раз проводя по волосам гребешком – второй ей был не нужен. Она была из тех женщин, что умеют одеваться без зеркала: если она уверена в том, что выглядит великолепно, незачем лишний раз себя в этом убеждать, можно смело отправляться на бал.

Писали, что в танце она легка как пух. «Лишь увидев ее танец, понимаешь подлинную легкость летнего ветерка, – восторгался один журналист. – Благодаря ей мы воспринимаем эту легкость зрительно». И это притом что, по общему признанию, Айрин уступала мужу в мастерстве. Своей природной грацией и плавностью движений она великолепно оттеняла признанного «гуттаперчевого» мастера.

Каслы были не только родоначальниками современных бальных танцев, они своим неповторимым изяществом и ярким примером сумели распахнуть сердца миллионов и ускорили приход стиля, именуемого нами модернизмом. Танцем, которым заразились миллионы, пара пропагандировала избавление от предрассудков в отношениях мужчины и женщины. Каслы стали лишь предвестниками бури, которая вскоре разыгралась всерьез, оторвав навсегда длинные подолы у женских юбок. В 1918 году Вернон Касл погиб в авиакатастрофе в Техасе близ города Форт-Уэрт; его смерть фактически ознаменовала конец одной эпохи, военной, и начало другой: наступали 20-е годы.

Первая мировая, вне всяких сомнений, способствовала тому, чтобы канули в Лету тугие пути длинных юбок, ведь женщине в новой роли, которую она примерила на себя и, более того, начала исполнять, такой наряд только мешал. Упомянутый узкий покрой противоречил самой сути зарождавшейся борьбы женщин за свои права – стянутый внизу карандаш юбки, как и широкополая шляпа, мешали суфражистке убежать от полицейских. С новыми временами пришла новая крайность: в период с 1915 по 1916 год стали носить юбки-колокол на манер XVIII столетия. «Будешь блистать – с тобой заблестает весь мир, уйдешь в тень – останешься в тени одна» – этой мудростью применительно к новым юбкам наперебой спешили поделиться модные журналы. Некоторые носили платья многоярусные, ниспадающие складками; вошли

в моду платья «чарльстон» и «роб-де-стиль», замелькали юбки-тюльпаны или пышные с драпировкой, будто сошедшие с полотен Жана Оноре Фрагонара. Талию часто украшал цветок розы – прекрасное дополнение к кружевному платку, ниспадавшему складками с плеч. Вошла в моду и полоска, самым модным из оттенков был спокойный синий. Туфли носили остроносые с огромными пряжками на кружевных шелковых лентах. Даже суфражистки, приковывавшие себя к ограде Букингемского дворца, обзавелись шляпками, как у диккенсовских героинь, обильно украшенными лентами: их было принято носить, слегка сдвинув на лоб.



Вошла в моду и полоска



К зиме 1916 года градус ажиотажа несколько снизился, хотя в женских нарядах все еще господствовали рюши и жабо. Положить конец этим нравам в моде сумела лишь одна упрямая простушка из французской провинции Овернь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.